

И. ДОЙЧКРОН Я носила желтую звезду



Инга  
Дойчкрон

Я носила  
желтую  
звезду

*Книга издана при поддержке  
благотворительной организации  
Институт «Открытое общество»  
(Фонд Сороса)— Россия  
в рамках программы  
«Горячие точки»*



*Inge  
Deutschkron*

---

*Ich trug  
den gelben Stern*

*Инга  
Дойчфрон*

---

*Я носила  
желтую звезду*

ВОСПОМИНАНИЯ

*Перевод с немецкого  
Софьи Фридлянд*

*Предисловие  
Станислава Рассадина*



«ТЕКСТ»  
ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ»  
МОСКВА 2001

УДК 821.112.2  
ББК 84(4Гем)  
Д62

*Книга издана при поддержке Фонда Inter Nationes (Бонн)*

*Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln  
von Inter Nationes, Bonn gefördert*

*Художник Татьяна Иващенко*

*В оформлении серии  
использован фрагмент картины  
Эдварда Мунка «Крик»*

ISBN 5-7516-0272-2

First published by Verlag Wissenschaft und Politik, 1978

© 1997 Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich/Germany

© «Текст», издание на русском языке, 2001

## ЛЮДИ, НЕ СДЕЛАВШИЕ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Жаль (или — не очень? подумаем) расставаться с греющими душу легендами. Особенно с так называемыми «знаковыми», претендующими на роль опознавательного знака явления или эпохи. Тем не менее...

Одна из таких: желтая нарукавная повязка, с которой король Дании Кристиан X вышел на улицы Копенгагена, когда она была предписана датским евреям. Так вот — не было этого. Было другое.

Король, прознав (как говорят, от одного из немецких чинов, тем самым прошедшего тест на порядочность), что вот-вот приступят к «решению еврейского вопроса», в сердцах сказал кому-то из приближенных: если, мол, так, то и он наденет повязку как символ причастности к угнетаемой части подданных. Не пришлось, слава Богу. За оставшиеся до начала акции дни оповещенные о ней датчане успели перевезти на своих суденышках подавляющее большинство евреев в нейтральную Швецию.

Так что ж, вздохнем ли о затмении «датской легенды»? Тем более мне приходилось слышать в Дании о неидиллическом финале ее: после войны, когда спасенные стали возвращаться, кое-кто из спасителей, задним числом смекнув свою выгоду, потребовал возмещения за труды и за риск. Возникли даже судебные процессы.

Но кому как, а мне такой оборот дела в особенности дорог и мил. Ибо что он означает? Что спасителями оказались не избранные герои, которые, как всякое исключение, не так уж много говорят о среде, их взрастившей. Нет, люди как люди. Те, что даже своим небескорытием, проснувшимся в неэкстремальный момент, доказали свою обыкновенность.

Именно это заставила вспомнить книга Инги Дойчкрон.

Она способна многое всколыхнуть в российском читателе, прежде всего имеющем опыт советской жизни. Не говорю о брос-

ких деталях вроде мебельных фургонов, в коих гестапо Вены, пришедшее на подмогу запарившемуся берлинскому, увозило на гибель «жидов» (слишком очевидна ассоциация с нашими автофургонами «Хлеб» или «Мясо», приспособленными сталинской Лубянкой для своих перевозок). Однако сама по себе ситуация: евреи, подпольно выживающие в гитлеровском Берлине, которые изнутри, но как сугубо чужое, враждебное (в то же время — как враждебное, но все-таки изнутри) видят и политическую систему, и подвластный ей быт, — не есть ли она концентрированное выражение ситуации нашей с вами? Той, в которой уже мы, по крайности многие из нас, жили столь долгое время. Нося маску лояльности к строю, цену которому знали, — лояльности хотя бы относительной, непосредственно неподсудной.

Одиннадцатилетняя девочка, кому возраст велит быть беспечной, вдруг на опыте познает, «что отсутствие реакции на опасность — это очень большой недостаток». Или — до поры не тронутые евреи, убеждающие себя — и даже гонимых собратьев! — что не надо поддаваться панике, что «должен был явиться человек, подобный Гитлеру, чтобы положить конец безработице и спасти Германию...». В общем, лес рубят — щепки летят. Узнаём ли себя, самых что ни на есть разнонациональных?

Что ж, не мною замечено: читая книгу о любых временах и любых героях, мы все равно читаем в ней про самих себя. И подробности, незнакомые нам лично (та, например, что немецким евреям «снимки для документов надлежало делать так, чтобы было видно левое ухо», — эта, безобидная с виду, подробность объяснялась расистским убеждением, будто по левому уху можно угадать семитские корни), — экзотические подробности вроде этой лишь подчеркивают общее неотменимое сходство. Как сходно, в сущности, безумие всех тоталитарных режимов.

Впрочем, это сходство не только впервые, но едва не исчерпывающе обнажено великим романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Схожая психология жертв также скрупулезно изучена — хотя бы по той простой и печальной причине, что их было слишком много. Другое дело — сходство тех (да, немногих, по крайней мере, уж никак не составляющих большинства), что в проклятые времена противостоят злу, ставшему обычаем, утвержденному законом.

Противостоят — чем? Какими такими качествами? Что заставляло «простых немецких людей», рискуя жизнью, спасти обреченных евреев?

Проще ответить, когда речь о таких, как полуслепой хозяин мастерской слепых Отто Вейдт. «Плут, игрок, авантюрист», — скажет о нем Инга Дойчкрон в другой своей книге, «Они так и остались в тени». «Борец», который «ненавидел нацистов» и был приверженцем пацифизма. Как у нас говорят, «идейный». Но вот владелица прачечной Эмма Гумц как раз из разряда «простых» — ее-то что толкнуло на опаснейший путь спасения?

Держа в голове пример с датчанами, которым я начал свое предисловие, или — еще ближе к предмету — знаменитого ныне Шиндлера, прославленного фильмом Спилберга, не предположить ли *эксперимента ради* некую невинную, однако все же корысть? Предположили — и что из того?

Пусть фрау Гумц — не в обиду ее отлетевшей тени — заполучила, спасая Ингу и ее мать, «рабочую силу» в свое прачечное заведение и заодно едва ли не даром — богатую мебель Дойчкранов. Пусть другие «простые немцы» из торгового сословия пользовались тем же, закрывая глаза на инородческое происхождение «силы», не донося, следовательно, преступая строгий закон. Пусть! В том-то и дело, что, повторю, человечность и сострадание оказывались достоянием не героев без страха и упрека, а тех самых «бюргеров», «обывателей», которых тоталитарный режим рассматривает (небезосновательно!) как свою надежнейшую опору. Или как глину, из которой он лепит нужных ему «белокурых бестий» или красных фанатиков.

Пуще того. Сам режим — ну, конечно, не беззащитен, однако же не всесилен перед проявлениями искореняемого им «буржуазного» или «абстрактного» гуманизма. Так сам Сатана, булгаковский Воланд, помнится, сетовал, что, как ни законопачивай щели, а сострадание нет-нет да и проникнет в подвластный ему мир.

Сказать ли, что книга — даром что писана без сантиментов, даром что не обойдены ни советские «воины-освободители», пытавшиеся изнасиловать героиню-рассказчицу, ни союзники-англичане, явившие постыдное бюрократическое равнодушие к людям, спасшимся чудом (и т. д. и т. п.), — сказать ли, что она тем не менее внушает нам оптимизм? Отчего бы и не сказать — с той ответственностью оговоркой, что он весьма урезан сознанием: наличие добрых и совестливых людей, к несчастью, еще ни разу не смогло



потрясти основание злодейских режимов. Вообще — не печально ли, что нас (убеждаюсь, читая книгу) потрясает не зло, к коему мы притерпелись, а добро, существующее вопреки злу?

Все так. Но...

Наш Виктор Некрасов, выступая некогда над могилами Бабьего Яра, произнес великую фразу — в ответ на подлое замечание, что нечего голосить по евреям, здесь убивали людей и прочих национальностей: «Да. Однако только евреи убиты за то, что они — евреи». Но эта фраза, это продиктованное фразой сознание стоит объединить в одно целое со строчками Марины Цветаевой, которая, находясь возле пражского гетто (заметим: еще до оккупации Праги, до момента, начиная с которого само слово «гетто» станет синонимом «ада»), воскликнула: «В сём христианнейшем из миров поэты — жида!» Понимай — *тоже* изгой, но тут и само изгойство есть форма причастности.

Что делать, «хорошие люди», спасшие Ингу Дойчкрон, — в меньшинстве. Как и всякая соль земли, они многим кажутся исключением из правила, пусть благородным, но нарушением его (в точности как поэты). Нет, это они — воплощение правила. Нормы. Нормальности. И если у человечества есть надежда, то она именно в них, способных сказать, как Эмма Гумц, отвергающая благодарность спасенных ею: «Я ведь не сделала ничего особенного».

Станислав РАССАДИН

Я НОСИЛА  
ЖЕЛТУЮ ЗВЕЗДУ



## ТЫ ЕВРЕЙКА

«Ты еврейка, — услышала я слова матери. — Ты должна доказать остальным, что из-за этого ты ничуть не хуже, чем они».

Интересно, а что это такое — еврейка? Я не стала расспрашивать, поскольку все мое внимание было приковано к тому, что происходило в северо-восточной части Берлина, на Хуфеландштрассе, куда я могла смотреть из окна своей комнаты. Я любила этим заниматься, и, хотя Хуфеландштрассе, по сути, представляла собой тихий переулок, для девочки десяти лет там было много интересного. Из своего окна я смотрела, как играют другие дети. А вот мне родители запрещали играть на улице, они считали, что там маленькую девочку подстерегает слишком много опасностей. Их запрет казался мне неоправданно жестоким. Хотя я и знала по имени всех детей, которые там играют, участвовать в их играх я могла лишь на расстоянии, со своего наблюдательного поста. И это было очень грустно.

Мать постаралась растолковать мне смысл сказанного. Сегодня я уже и не припомню, как она мне это объяснила, помню только, что ничего не поняла из ее слов. Впрочем, я и позднее не стала возвращаться к этой теме и требовать от нее объяснений более вразумительных. Я смутно ощущала, что своей настырностью могу накликать всяческие беды на ее и на свою голову. В ту пору — а было начало 1933 года — меня волновали другие проблемы, которые, на мой взгляд, касались меня гораздо больше. Мне предстояло перейти в старшую ступень средней школы.

Директор Высшего Кёнигсштедского лицея, расположенного на северо-востоке города, к которому родители повели

меня, чтобы записать, был явно удивлен, когда услышал, что первые четыре года я посещала обычную светскую школу в северной части Берлина, где не было уроков Закона Божия, а само обучение велось в гораздо более свободной и современной форме, чем было принято в те времена. Поэтому он не без сарказма переспросил: «Значит, говорите, ваша дочь посещала светскую школу?» После беседы с ним мать сказала мне: «Ты должна доказать, что светская школа не только ничуть не хуже, но даже лучше, чем все остальные». И этот материнский наказ был мне куда понятнее, чем ее слова о том, что я еврейка.

Я знала, что родители у меня социалисты, и разделяла их взгляды, как любой ребенок, который растет в дружной семье. Отец у меня был функционером СДПГ и все свое свободное время — а он, как учитель, имел его предостаточно, — само собой разумеется, отдавал партии, точно так же само собой разумелось и то, что он безоговорочно поддерживал социализм, например призыв покупать в кооперативах, вступать в группу народного попечения и т.п.

Я не только разделяла политические взгляды моих родителей, осознание своей причастности к их делу порождало во мне чувство гордости и собственного достоинства. Пусть это прозвучит странно, но из самых приятных воспоминаний детства у меня сохранились воспоминания не о путешествии во время каникул, не об обычных детских радостях, а о том, что я могла сидеть вместе со взрослыми в прокуренной задней комнате какого-нибудь трактира, могла помогать им, например, паковать листовки. Участие в так называемых символических прогулках, во время которых социал-демократы как бы случайно встречались на оживленных улицах и приветствовали друг друга кличем «свобода!», наполняло меня радостью и гордостью. Во время первомайских демонстраций в берлинском Лустгартене я чувствовала то воодушевление, которое окрыляет и наполняет силой социально активных людей.

Разумеется, от моих глаз не укрылось обострение политической борьбы в начале тридцатых годов. Эту атмосферу трудно было не почувствовать человеку, участвовавшему в политической жизни тех лет. В памяти у меня четко запечатлелись марширующие колонны: коммунисты с красными флагами, мне

нравились мелодии их духовых оркестров, рейхсбаннеровцы\* с черно-красно-золотыми флагами тоже встречались среди наших, отчего я испытывала к ним симпатию, а вот по-военному вымуштрованные колонны штурмовиков внушали мне страх. Я на всю жизнь запомнила смертельно раненного коммуниста, который, теряя сознание, из последних сил шел по улице, где произошло столкновение коммунистов и нацистов. Для меня то время было связано с газетными репортажами об уличных боях и о диспутах, которые устраивали политические противники, к примеру коммунисты и социалисты.

Кто такие были нацисты, что они делали и чего хотели, я узнала из слов отца: «Гитлер — это террор, война, диктатура!» Перед последними свободными выборами, в результате которых Гитлер пришел к власти, отец не давал себе ни сна, ни отдыха. «Берлин останется красным!» — заклинал он участников предвыборных собраний и прохожих на стихийных уличных демонстрациях. И его пыл отнюдь не уменьшился, когда один из жильцов нашего дома был ранен пулей, явно предназначенной для моего отца.

Хотя я не всегда понимала что к чему и не знала всех подробностей, я не могла не чувствовать напряжение, которым в то время были пронизаны наш дом и улица. Когда вывешенный у нас на балконе по поводу выборов в рейхстаг светящийся лозунг «Голосуйте за список № 1» закидали камнями, я интуитивно поняла, что все мы, и я в том числе, вовлечены в эту борьбу.

В тот вечер 31 марта 1933 года я не смотрела, как обычно, из окна на играющих внизу детей, потому что никак не могла сосредоточиться. Меня тревожило смутное чувство опасности. Я знала, что на завтра, то есть на 1 апреля, нацисты запланировали бойкот еврейских магазинов, иными словами, первую официальную акцию против евреев. Я то и дело поглядывала в ту сторону, где на углу Эсмархштрассе и Пастерштрассе располагалась пивная, которую нельзя было увидеть с моего наблюдательного пункта. Я знала, что наци давно уже облюбовали эту

---

\* Рейхсбаннер — боевой союз немецких социал-демократов, основанный в 1924 году. В 1933 году запрещен нацистами. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

пивную, и невольно прислушивалась, не прозвучат ли за окном торопливые шаги отца, которому уже давно следовало быть дома. Мать тоже тревожилась. Я слышала, как она то и дело открывает дверь квартиры и пытается уловить звуки на лестничной площадке и в вестибюле, отделанном мрамором. Потом мать вернулась в комнату, оттащила меня от окна и приказала тоном куда более резким, чем обычно разговаривала со мной, поиграть в домино с Лоттой, нашей прислугой. Сама же она осталась у окна и продолжала вглядываться в темную улицу.

Итак, я сидела с Лоттой и без всякой охоты вытаскивала костяшки домино. Вдруг раздался пронзительный звонок. Мать появилась в дверном проеме и пристально посмотрела на Лотту. Та сидела неподвижно. В это мгновение наш страх начал приобретать четкие формы и заполнил комнату. И тут мать сказала с удивительным самообладанием: «Так откройте же». Лотта поплелась к дверям. Едва услышав голос одного из наших друзей, мать выскочила в переднюю и увлекла посетителя за собой в другую комнату. Я лишь разобрала его слова: «Вашему мужу надо немедленно скрыться».

Этот человек провел у нас от силы несколько минут. Потом я увидела, что и мать тоже куда-то собирается. От страха у меня перехватило дыхание. Однако я ни о чем не стала ее спрашивать. Было такое впечатление, что она меня вообще не видит. Мать спокойно объяснила, что отец, вероятно, задержался на приеме экзаменов. И что она скоро вернется. Не сказав больше ни слова, она затворила за собой дверь. Лотта лишь безмолвно кивнула в ответ. Ей было никак не больше восемнадцати лет. И не знаю, кто из нас обеих тогда больше боялся. Мы снова принялись играть в домино, но совершенно не могли сосредоточиться. Ловили каждый шорох на лестнице и с ужасом переглядывались, когда за дверью раздавались чужие шаги.

Уж и не помню, сколько мы так просидели. Знаю только, что, когда мать вернулась домой, стояла глубокая ночь. И опять, рассказывая, что отец сегодня заночует у наших друзей, она выглядела вполне спокойно. Почему отец заночует у них, она объяснять не стала, и я поняла, что лучше ни о чем не спрашивать. Без обычных пререканий я согласилась лечь в постель. Но, уже лежа, слышала, как она говорит нашей прислуге: «Доктора Островски арестовали, господина Вебера тоже. Никто не

знает, что будет дальше. Я уложу чемодан с самыми необходимыми вещами. Нам всем лучше переночевать завтра в другом месте».

Тогда впервые арестовали двух человек из ближайшего окружения моих родителей, да и над моим отцом явно нависла угроза. Человек, который приходил к нам, сказал матери: «Наци сегодня весь вечер указывают на ваш дом». Ведь и мы, и наши политические взгляды были известны всей округе.

«Аресты» — это слово я часто слышала и читала в последнее время, но оно оставалось для меня абстрактным понятием. В тот вечер оно обратилось в пугающую реальность. Тогда деятельность нацистов была в первую очередь направлена против их политических противников и лишь во вторую — против евреев. А большинство берлинских евреев политикой не интересовалось. Немногочисленные еврейские друзья моего отца, оставшиеся у него со студенческих времен, не понимали его политической активности и относились к ней с презрением. Порой они даже говорили, что только Гитлер способен навести порядок в хаосе Веймарской республики. Аресты же, происходившие в те дни, они называли «перегибами».

Ночь на 1 апреля прошла спокойно. Утром отец вернулся домой. Я не заметила в нем ничего необычного. Выглядел он довольно веселым и не без юмора рассказал, как отец одной из его учениц, радуясь, что дочь сдала выпускной экзамен и узнав о тревогах моих родителей, предложил моему отцу переночевать у него. Это был врач-еврей, совершенно чуждый политике, и он предоставил в распоряжение отца свой кабинет. Мы от души смеялись, слушая рассказ отца о том, каково ему было спать на медицинской кушетке в окружении инструментария и в обществе скелета, отбрасывавшего причудливые тени. То, что грозно вырисовывалось на нашем горизонте, нам все еще казалось случайным, нереальным, даже забавным. И никто из нас не догадывался, что настанет день, когда мы будем от всей души благодарны за такой приют.

За окном «спокойно твердым шагом» маршировали они. Они же демонстративно, в клочья разорвали на нашей улице черно-красно-золотое знамя Веймарской республики. Другие несли плакаты с призывами: «Немцы! Не покупайте у евреев! Мировое еврейство хочет уничтожить Германию! Немецкий



народ! Защищайся!» Все это я видела из окна своей комнаты. На улицу мы в тот день не выходили. У родителей были дела поважнее. Дверцы обоих массивных книжных шкафов в так называемой хозяйской комнате были распахнуты настежь. На большом черном письменном столе, где обычно отец проверял ученические тетради, в диком беспорядке громоздились брошюры, бумаги и книги. Мать беспощадно прореживала ряды книг, а отец с беспомощным и несчастным видом стоял рядом. Книги считались у моих родителей священным достоянием. Первым предметом, который они купили после свадьбы, была книга. Труды политических классиков, таких, например, как Маркс и Энгельс, на сей раз родители пощадили. Только переставили на другое место, где они не сразу бросались в глаза. Тогда отец и мать еще верили, что эти труды и изложенное в них учение нельзя вот так просто взять и отменить. Важнее было убрать брошюры с боевым, политическим содержанием, которые призывали бороться против национал-социализма. Из-за каждого памфлета между родителями завязывалась легкая перебранка. Когда отец брал в руки очередную, обреченную на уничтожение книжку, еще раз перелистывал ее и неуверенно спрашивал: «Ты думаешь, это нужно?» — мать, которая из них двоих была более решительной и обладала более тонким чутьем на всякого рода опасности, могла ответить ему довольно резко.

Время от времени в комнате появлялась Лотта с огромной бельевой корзиной, чтобы покидать туда все, отобранное матерью. Книги и труды, прежде столь бережно хранимые, Лотта подхватывала безо всякого почтения и бросала в свою корзину. После того как родители, завершив радикальную проверку книжных шкафов, подвергли столь же безжалостной ревизии содержимое письменного стола, на что у них ушло несколько часов, Лотте надлежало позаботиться об уничтожении книг и рукописей. Сделать это в подвальной прачечной нашего дома было бы легче легкого, но наверняка могло вызвать подозрения у вахтерши и соседей.

Той ночью недоверчивость навсегда вошла в нашу жизнь. Мы не знали, какого образа мыслей придерживаются наши соседи. Если не считать беглого приветствия при встречах на лестнице, других отношений между нами не было. Так могли ли

мы быть уверены, что ранее вполне безразличные к политике соседи не превратились за ночь в рьяных или слабовольных сторонников нового порядка? А в этом случае для нас, никогда не скрывавших свое неприятие нацизма, они представляли большую опасность. Раньше мы просто не думали о том, каких убеждений придерживается тот или иной сосед. А теперь невольно стали наблюдать: не заметно ли в их взглядах, их поведении чего-то такого, что говорит об их убеждениях?

Нет и нет, и речи не могло быть о том, чтобы уничтожать книги и рукописи в прачечной, так сказать, на глазах у всех соседей. Это можно и нужно было сделать в нашей печке. Но печка не могла осилить такую уйму бумаги. И наша кухня немедленно заполнилась дымом и чадом, что, в свою очередь, породило новую, неожиданную проблему. Мы не смели выпустить дым во двор через кухонное окно. У людей, живущих позади нашего дома, это непременно вызвало бы подозрения, и они прислали бы к нам полицию или пожарных. В домах, которые вместе с флигелем со всех сторон замыкали тесный двор, я еще ни разу не бывала. Я знала только, что там живут бедняки, хотя плохо представляла себе, как это, собственно, понимать: бедняки. Но именно в тот день среди обитателей этих домов царило необычное оживление. Из громкоговорителей доносились бравурные марши. По лестницам вверх и вниз деловито сновали люди.

Лотта отогнала меня от кухонного окна, чуть приоткрытого, чтобы можно было незаметно выпустить хотя бы немного дыма. Она стояла перед печкой, словно ведьма из сказки, с черным лицом и черными руками, изо всех сил стараясь «переработать» эту гору бумаги. Я покинула кухню, выслушав вдогонку строгий наказ Лотты или вообще больше не приходив на кухню, или не закрывать за собой дверь. Для меня, девочки, которая не имела права участвовать в хлопотах взрослых и даже мешала им, но в то же время испытывала страх перед тем непонятным, из-за чего возникла столь загадочная и зловещая суетня, все это было крайне неприятно. Ну кто мог объяснить мне тогда, что происходило в Германии тридцать третьего года? Почему преследовали, унижали, мучили людей за их расовую принадлежность, их политические взгляды или их веру? А сумела ли я понять это впоследствии? Боюсь, что нет.

Когда прогорело пламя в плите и последняя бумага обратилась в пепел, мы облегченно вздохнули. А мать сразу начала прикидывать, что делать дальше. «Как только стемнеет, мы поедим в Шпандау», — объявила она. Я обрадовалась. В Шпандау вместе с мужем жила тетя Эльза Ханнес, сестра моего отца. Своих детей у них не было, поэтому они всячески баловали меня. Люди они были довольно состоятельные и держали магазин мужской одежды. У них в изобилии имелось все то, что редко попадало на стол в нашем более чем скромном хозяйстве.

Итак, вечером 1 апреля мы ушли из дому, стараясь не создавать никакого шума. Ушли, можно сказать, украдкой. После бурного дня, после барабанов, флейт и маршей вечерняя тишина казалась чуть ли не осязаемой. На улице мы почти никого не встретили. На некоторых еврейских магазинах были видны следы погрома. Звезда Давида, намалеванная белой краской на витрине, осколки на мостовой перед магазином, за опущенными железными ставнями, похоже, не осталось ни одного стекла. Вот, собственно, и все, что мы смогли увидеть в этот вечер. Быть может, и мои родители при виде этого мирного вечернего пейзажа спрашивали себя, а не лучше ли было остаться дома, не есть ли то, что мы повидали и пережили за последние дни, всего лишь злое наваждение, которое развеется так же быстро, как и пришло?

Все, что мы услышали в Шпандау, тоже весьма успокоило нас. Спору нет, штурмовики появились и перед магазином дяди Ханнеса, причем один из них даже вроде как извинился: «Это такое мероприятие, понимаете...» Добропорядочные покупатели могли беспрепятственно входить в магазин. Удивительное настроение царило в тот вечер! Казалось, будто надежда на благополучный исход обернулась явью.

После этой поездки в Шпандау, которая затянулась на несколько дней, мы вернулись домой. Однако мне показалось, это уже не был наш прежний дом. Он не давал, как раньше, чувства покоя и уверенности. Теперь я все время прислушивалась к шагам на лестнице, словно любые шаги сулили приближение опасности. Но мои родители больше не выглядели такими озабоченными. Некоторых наших друзей выпустили из гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Я краем уха ловила обрывки их рассказов. «...Там был длинный коридор, и меня застав-

ляли бежать по нему, а когда я, по их мнению, бежал недостаточно быстро, на меня со всех сторон сыпались удары, пока я не терял сознание». Другие ничего не рассказывали, а третьи так и вообще не вышли на свободу. Их сразу же перевели в концентрационный лагерь, и лишь очень немногие вернулись оттуда живыми. Понятие «концентрационный лагерь» тогда еще не приобрело нынешнего значения. На ухо шептали друг другу названия: «Ораниенбург» или «Дахау».

Через неделю мой отец получил официальное уведомление от школьной коллегии. Ему сообщили, что первый принятый новым правительством рейха закон против политических противников и евреев касается и его. Я по сей день вижу перед собой отца, вижу, как он, побледнев, изучает каждую фразу, каждую запятую этого послания, словно надеясь обнаружить в нем какой-нибудь другой смысл. Но текст был совершенно однозначный. Закон о восстановлении чиновничьего сословия предписывал увольнение с государственной службы всех тех, «чья политическая деятельность не гарантирует, что они готовы без колебаний служить своему национальному государству», равно как и лиц неарийского происхождения, за исключением тех, кто сражался на фронтах Первой мировой войны. А мой отец как раз пошел на войну добровольцем. Бабушка всегда с гордостью повторяла, что все трое ее сыновей выполнили свой «долг» перед отечеством. Иными словами, новый закон, направленный против «неарийских» чиновников, моего отца не затрагивал. Причиной увольнения послужили его политические взгляды и политическая деятельность. Для тех, кого он касался, новый закон означал конец профессиональной карьеры. Их всех разом лишили занимаемых постов. На три месяца им оставляли полный оклад, после чего лица, прослужившие на общественной службе не менее десяти лет, получали право на три четверти причитавшейся им пенсии. А вопрос, смогут ли они снова начать работать и если смогут, то как, оставался открытым.

Те из наших еврейских друзей, кого не затронул новый закон, хлопали моих родителей по плечу и говорили, что уж какой-нибудь выход из этого тяжелого положения, несомненно, найдется. Что рано или поздно должен был явиться человек, подобный Гитлеру, чтобы положить конец безработице и спасти Германию

от разграбления союзниками. Ведь так продолжаться просто не могло. Они приводили в пример Муссолини и осушение Понтийских болот. Того же можно ждать и от Гитлера.

О том, что и при Муссолини людям приходилось умирать за свои взгляды, в их разговорах не упоминалось. Тех, кто уже тогда покидал Германию, потому что новые законы лишали их средств к существованию, большинство берлинских евреев поминало с усмешкой сострадания. Как можно до такой степени поддаваться панике? Моим родителям мысль об эмиграции тоже представлялась абсурдной. «В конце концов я прусский чиновник и не могу бросить все на произвол судьбы!» — повторял отец.

Надежда, что скоро все изменится к лучшему, отнюдь не угасла. Вдобавок у евреев в Германии возникало чувство привыкания. Люди привыкли к тому, что они, будучи евреями, подвергаются дискриминации. Они принимали это как данность и старались как-то приспособиться. Положение о том, что евреи, участвовавшие в Первой мировой войне, не подвергаются репрессиям, коль скоро они не выступают против национал-социализма, более или менее соблюдалось. Чтобы подчеркнуть «привилегированное» положение таких евреев, в августе 1935 года «именем фюрера и рейхсканцлера» фронтовикам вручили учрежденный Гинденбургом Почетный крест в память о Первой мировой войне. Моего отца тоже пригласили в полицейское управление на Грольманштрассе. Ситуация получилась довольно нелепая: ему, еврею, наказанному за политические взгляды, отдавали салют полицейские чины, дабы поблагодарить за участие в Первой мировой войне. Они пожимали отцу руку, поздравляя с честью, оказанной ему по поручению фюрера и рейхсканцлера. Грамота, подписанная полицией-президентом Берлина, до сих пор хранится у моего отца. К слову сказать, на особом положении бывшие фронтовики находились лишь в Берлине, но не в провинции, где их преследовали, как и всех.

Политические партии и профсоюзы были уничтожены, их руководство арестовано. Сопrotивление отдельных людей против превосходящей мощи государства казалось лишенным всякого смысла. Массовое упоение победой продолжалось. Всего ужасней оказалось для нас 1 мая 1933 года. Огромные колонны марширующих штурмовиков, эсэсовцев и членов гитлерюгенда шли по Берлину в сопровождении оркестров. Гремели мар-

ши. Звучали песни: «Кости дрожат гнилые...» или «Если каплет с ножа еврейская кровь, до чего ж на душе хорошо!». В то 1 мая мы не открывали окон, чтобы не слышать, как новые власти извращают и оскверняют этот день.

Бездеелье из-за досрочного выхода на пенсию стало для отца тяжелой психической нагрузкой. Хотя ему и выплачивали три четверти полагавшейся пенсии, на жизнь все равно не хватало. Что ему оставалось делать? Он никак не мог освоиться в этой новой для себя ситуации. Друзья, находившиеся в таком же положении, старались отвлечь его от невеселых мыслей. Отцу вообще не шло на пользу постоянное сидение дома. Поэтому летом тридцать третьего года мы переехали в один из многочисленных дачных поселков под Берлином. У друзей моих родителей, Курта Хенеля, в прошлом профсоюзного деятеля и рабочего-металлурга, и Ганса Вебера, бывшего члена городского совета и печатника, было по домику с участком. Там собирались люди, которые, подобно моим родителям, были отторгнуты так называемым Третьим рейхом как политические противники. Среди них был столяр Пауль Гарн, высокий, крепкий мужчина с добрыми глазами. Он тоже потерял работу из-за своей активной деятельности в рядах СДПГ. Для него это означало крушение мира. Про Ганса Вебера помню только, что это был худой, рано поседевший человек, который очень редко улыбался. Казалось, он больше размышляет о событиях, свидетелем которых стал, чем стремится что-то сделать. Всю свою симпатию я отдавала великану Курту Хенелю и его жене. Они были, пожалуй, самыми молодыми в этом кружке и, несмотря на собственные беды, никогда не скупилась на доброе слово для меня. Но не только по этой причине они мне так нравились. Хенели были полны энергии и готовы к борьбе, тогда как остальные, в том числе и мой отец, больше ни на что не надеялись. К концу недели круг бывших соратников по СДПГ заметно увеличивался. Особенно запомнился мне шорник Якоб Хайн и еще семейство Рихарда Юнгханса, потому что наши связи с ними не оборвались и в дальнейшем. Мужчины либо работали в саду, либо играли в скат. Так прошло лето 1933 года на садовых участках Веберов и Хенелей.

Разумеется, все разговоры шли о политическом положении в стране и о том, что нас ожидает. Каждый пострадавший был глу-

боко убежден, будто вся эта национал-социалистская нечисть продержится от силы три месяца, что можно счесть странным плодом неосуществимой надежды, ибо те же самые люди раньше предостерегали своих соотечественников: «Гитлер — это война». А теперь Гитлер пришел к власти, и поначалу не было ни малейших намеков на то, что эту власть у него можно отобрать.

Мои родители решили переехать в другой район Берлина, где бы никто не знал ни о них самих, ни об их политических взглядах. Они подыскивали небольшую квартирку в домике с садом на Уландштрассе, в западной части Берлина. Судьбе было угодно, чтобы как раз над нами снимал квартиру Вальтер Рик, директор школы, по тем же причинам отставленный от должности. Благодаря посредничеству Рика в этом доме вскоре снял квартиру и его коллега, доктор Таус, которого постигла схожая участь. Для трех наших семейств это было очень важно. В те тяжелые времена соседство единомышленников представляло собой великую ценность. Поначалу всем нам приходилось туго, потому что урезанной пенсии на жизнь не хватало. Ради дополнительного заработка доктор Таус начал надписывать адреса на конвертах. Мы все помогали ему в этом скучном занятии, когда у нас было время. Лично я, в отличие от взрослых, делала это с удовольствием. Госпожа Женни Рик снова занялась шитьем и тем кормила свое семейство. Мой отец давал иностранцам уроки немецкого языка. Учились у него в основном китайские студенты, которых тогда в Берлинском университете было великое множество. Когда впоследствии отец подыскал себе другое дело, репетиторством вместо него занялся доктор Таус.

Разумеется, от жителей дома не могла укрыться дружба наших трех семейств. И дня не проходило, чтобы мы не собрались в одной из трех наших квартир. Причем, само собой, темой разговоров служили прежде всего внутри- и внешнеполитические события. Когда 30 июня 1934 года стало известно о ремовском путче\*, это было сочтено признаком скорого крушения гитле-

---

\*Эрнст Рем — создатель и глава немецких штурмовых отрядов (СА). В 1934 году был убит по приказу Гитлера за якобы поднятый им путч, на деле же — чтобы устранить соперника.

ровского режима. Раз уж в ближайшем кругу Адольфа Гитлера начали пожирать друг друга...

Нас несколько не тревожило, что жильцы дома могли видеть, как близки наши три семейства. Новое окружение, в котором нас конечно же никто не знал, заставило забыть об опасностях, неизбежно грозящих политическим противникам режима. Но об этом нам напомнили — и напомнили довольно грубо, — когда однажды утром к нам заявились двое гестаповцев, предъявивших ордер на обыск. Дома были только мы с матерью. Меня отправили на кухню, где я уселась за книгу. Поэтому я и не поняла, какой опасности подвергалась моя мать. Когда я вспоминаю об этом, мне и по сей день становится стыдно за свою беспечность. После того как они наконец-то покинули нашу квартиру, мать спросила меня, почему я не сообщила Рикам о том, что у нас гестапо. И тут мне стало ясно, что я вела себя недостойно. Мне было тогда одиннадцать лет, но я все равно поняла, что отсутствие реакции на опасность — это очень большой недостаток.

Гестаповцы примерно час рылись во всех ящиках и шкафах. В результате обыска им удалось изъять две брошюрки: «Маркс и евреи», а также «Генрих Гейне».

Как выяснилось позже, у нас, а потом и у Риков, которые следом за нами пережили такой же обыск с такими же результатами, они рассчитывали обнаружить улики, касающиеся нашей конспиративной деятельности. Причем гестаповцы вовсе не скрывали, что на нас, как и на Риков, донесли соседи, жившие под нами. Подозрения, высказанные ими по этому поводу, свидетельствовали о фантазии почти гротескной. Якобы доктор Таус, находившийся в отъезде, передавал Рикам сообщения и донесения, враждебные режиму Гитлера. Некоторые письма Тауса, адресованные Рикам и содержавшие в числе прочего «малопонятные» высказывания, были по этой причине конфискованы. Далее доносчики сообщали, что мы копировали материалы, полученные от доктора Тауса. «Пишущая машинка работала без перерыва». Моему отцу и впрямь приходилось тогда писать очень много писем, поскольку, желая хоть как-то улучшить наше материальное положение, он занялся делопроизводством в правлении одного дома. А вот стук электрической швейной машинки фрау Рик доносчики в неумном полете



фантазии приняли за стук множительного аппарата, на котором печатают листовки. Эти листовки дочь фрау Рик, часто уходившая из дома с чемоданчиком, относила в некий распределительный пункт.

На самом деле Урсель Рик работала медицинской сестрой и не всегда ночевала дома. Вот почему она так часто уходила с чемоданчиком. Даже недоверчивые и бдительные гестаповцы не смогли обнаружить ничего такого, что хоть как-то подтвердило бы этот высосанный из пальца донос. Словом, обыски ничего не дали. Наши близкие отношения с семьями Риков и Таусов продолжались. Доносчиков же мы наказывали демонстративным презрением. А раз их бессмысленный навет нам никак не повредил, это, на наш взгляд, свидетельствовало о том, что в Германии еще есть справедливость.

## БЕСПОКОЙНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Несмотря на политические события и на значение, которое они имели для моих родителей, переход в школу высшей ступени означал важный поворот в моей жизни. Школу, куда я ходила четыре года, закрыли сразу же после того, как Гитлер пришел к власти, а учителей всех до единого уволили. Ни одна из моих прежних одноклассниц не подала заявления в Высший Кёнигсштетдтский лицей. Из новых одноклассниц я никого не знала. Кроме меня, в этом классе учились еще три еврейские девочки. Но об этом я могла судить лишь по урокам религии: для нас их вела еврейка-преподавательница фрау Кац. Вообще-то я не общалась с этими девочками, разве что иногда заступалась за них. Поскольку в обычной школе мальчики и девочки занимаются вместе, я научилась давать отпор. В новом классе у меня не раз была возможность доказать это на деле, пусть даже ни одна из соучениц ни разу не напала на меня, хотя все знали, что я еврейка. Но я припоминаю двух девочек-евреек, которые были меньше ростом и слабей, чем остальные. Если их начинали дразнить, они всегда убегали, а от этого насмешки и нападки лишь усиливались.

Каждый день одна из моих новых одноклассниц провожала меня до дому. Эрика Зайдель была самая настоящая немецкая девочка с длинными белокурыми косами. Она носила коричневый спортивный жилет, что свидетельствовало о ее принадлежности к Союзу немецких девушек (СНД). И всякий раз, прощаясь со мной, она вскидывала руку и восклицала: «Хайль Гитлер!» Не знаю, заметила ли она, что я всегда отвечала ей обыкновенным «до свиданья». Я поступала так вполне сознательно и очень гордилась этой маленькой демонстрацией сво-

ей оппозиционности. А особенно я гордилась усилием, которое мне приходилось делать над собой, чтобы не сунуть ни единого пфеннига в кружку для сбора средств на всевозможные национальные и социальные цели. Мне нравилось слушать позвякивание монет в этих кружках, и конечно же пестрые значки, которые вручали за такого рода пожертвования, были для ребенка очень соблазнительны, однако я преодолевала в себе желание поступать так же, как другие дети.

В Высший Кёнигшtedтский лицей я проходила недолго. После нашего переезда на Уландштрассе я волей-неволей должна была перейти в другую школу. Когда мать пришла выписывать меня из лицея, тот же самый директор, который сомневался в достоинствах светской школы, теперь выразил большое сожаление по поводу моего ухода. Нам трудно было понять, хотел он похвалить мои школьные успехи или показать таким образом свое недовольство антиеврейскими выступлениями нового режима. Ведь неприятие нацистской диктатуры можно было выразить и в иносказательной форме.

В Школе княгини Бисмарк, куда я начала ходить после нашего переезда в западную часть Берлина, царил совершенно другая атмосфера. Половина моих одноклассниц были еврейками, по большей части из давно укоренившихся и состоятельных еврейских семей. Учителя, которых после тридцать третьего года заставили приветствовать класс словами «хайль Гитлер», выполняли эту обязанность с нескрываемым неудовольствием. Вдобавок они не делали никакого различия между нами и нееврейками. Единственным исключением была дочка одного высокого чина из штурмовиков, ибо, несмотря на явную неспособность этой девочки к занятиям, ее никак нельзя было оставить на второй год. Принадлежавший Школе княгини Бисмарк загородный дом — любимая всеми школьницами «Хижина» под Ферхом, по-прежнему носила название «Робула» в честь хоть и покинувшего страну, но до сих пор высоко чтимого многолетнего директора школы Роберта Бурга, который был наполовину евреем и в свое время приобрел для школы эту «Хижину». В школе продолжали преподавать еврейские учительницы, и за все время я не услышала там ни одного злого слова в адрес евреев.

Однако и в эту школу я ходила сравнительно недолго. Когда начальство распорядилось не брать больше учениц-евреек на загородные прогулки, не возить их в загородные дома и не допускать к урокам плавания, отец решил перевести меня в еврейскую школу, чтобы избавить от подобной дискриминации. Он счел эту школу вполне подходящей, потому что это была одна из немногих официальных еврейских школ. Закончив ее, я могла бы «после нацистского рейха» поступить в высшее учебное заведение. В тот же день, когда мои родители сообщили руководству о своем решении забрать меня из Школы княгини Бисмарк, нам позвонила одна из учительниц, чтобы сказать родителям, как она сожалеет о моем уходе, хотя и прекрасно понимает причины, которые заставили моего отца сделать это.

Как и все еврейские школы в Берлине, средняя школа на Гросе-Гамбургерштрассе была в ту пору переполнена. Но так было не всегда. До 1933 года дать своим детям еврейское образование стремились лишь те родители-евреи, которые желали придерживаться иудаизма. Но среди проживавших тогда в Германии евреев их было не так уж много. Статистика тех лет свидетельствует, что лишь менее четверти всех еврейских детей в Германии посещали еврейские школы. При этом следует учитывать, что к тому времени, о котором идет речь, еврейские дети, чьи отцы не участвовали в Первой мировой войне, имели право посещать только еврейские школы. Даже вполне ортодоксальные евреи порой признавали, что нееврейская школа лучше готовит детей к обычной жизни, тогда как еврейская школа прежде всего воспитывает детей для жизни в ортодоксальной среде, а в Берлине такую жизнь вели одни лишь переселенцы из Польши.

Когда партия и государство начали все более жестоко притеснять евреев в Германии, исключать их из общественной жизни, запрещать им общение с немцами, начался массовый наплыв в немногочисленные еврейские школы. Правда, создавались и новые, но их все равно не хватало. Особенно велик, по вполне понятным причинам, был наплыв в полную среднюю школу. Если в 1932 году ее посещало 470 учениц, то в 1934-м их уже было 1025.

Вспоминая первый урок в этой школе, я и по сей день ощущаю то смятение, в которое повергло меня количество моих со-

учениц. В обеих школах, куда я ходила раньше, число девочек в классе не превышало тридцати, тогда как в еврейской их было не меньше пятидесяти. При таких условиях едва ли было возможно нормальное преподавание. Учителя и ученицы то появлялись, то исчезали. Одни покидали Германию, другие, напротив, переходили сюда из немецких школ. С 1935 года всем чиновникам-евреям, а стало быть, и учителям пришлось оставить государственную службу. Вечная неопределенность не давала людям собраться с мыслями. Последовательное и серьезное обучение становилось невозможным. У преподавателей и родителей были одни и те же проблемы. Как быть? Уезжать? Оставаться? Возможно ли вообще вести в Германии достойную жизнь? Поэтому неудивительно, что порой мы имели дело с учителями, находившимися почти в истерическом состоянии и потому неспособными обучать нас, не говоря уже о том, чтобы воспитывать. Но были и другие, исполненные внутреннего спокойствия, достойного всяческого восхищения. Такие учителя благотворно действовали на учениц.

На школьную обстановку в немалой степени влияло и то, что большинство детей росло в атмосфере страха и тревоги. Ученики были здесь тоже самыми разными. Различия в социальном и интеллектуальном уровне семей неизбежно отражались и на качестве занятий. И все же, несмотря на неприятности и всяческие неувязки, мы кое-чему научились в этой школе.

Учебный план был составлен так, чтобы мы получили знания, которые могли пригодиться и в эмиграции. Вот почему особое внимание уделялось иностранным языкам, в частности ивриту. Два последних года обучения нам преподавали также машинопись и стенографию. По часу в неделю отводилось на английскую и французскую коммерческую лексику. Ученицы, предпочитавшие прикладные знания, осваивали кулинарию и шитье. Само собой разумеется, учебную программу изменяли за счет обычных школьных предметов, таких, как история, математика, химия или физика, не говоря уже о литературе и тому подобных гуманитарных дисциплинах.

Старания этой школы, равно как и других еврейских школ, как можно лучше справиться со своими задачами, несмотря на исключительное положение, в котором они находились, были

очень заметны. Поскольку еврейским детям запрещалось посещать те же спортивные площадки и кабины для переодевания, что и другим детям, еврейские школы обзавелись спортплощадкой в Груневальде. Там устраивали спортивные праздники, на которых каждая школа стремилась одержать победу. Нам это очень нравилось, и мы с волнением ждали очередных соревнований. Может быть, воспоминания о часах, проведенных в Груневальде на спортивной площадке, остались единственно приятными за все мои школьные годы. Все, что угнетало нас в школе, там развеивалось по ветру. Но когда мы садились в электричку, чтобы ехать домой, вся эта непринужденная атмосфера мгновенно исчезала. Боюсь, что не случайно я не могу вспомнить ни одной веселой проказы из школьных времен. Ну конечно, мы тоже называли прозвищами некоторых учителей, но придуманы эти прозвища были не нами, а нашими предшественниками. Если не считать редких исключений, время, проведенное в стенах школы, представляется мне серым и мрачным. Да и сама школа была такой же — мрачное массивное здание на Гросе-Гамбургерштрассе, среди бедных кварталов вокруг Хакешер-Маркт. Но даже когда я пытаюсь вспомнить какие-то сцены, мне все равно чудится, будто все те дни небо над нами было затянуто сплошными тучами. Ни одно событие, сколько я помню, не совершалось в солнечный день.

Конечно же мы не были образцово-показательными детьми, однако не были и слишком бойкими, не были проказливыми, как бывают обычно дети нашего возраста. Наша ребячливость, пусть даже неосознанно, не выходила за определенные рамки. Когда я днем ехала с подружками в электричке, мы всячески и не без внутреннего трепета старались не привлекать к себе внимания, не говоря уже о том, чтобы вызвать чье-то неудовольствие. Если кому-нибудь из девочек случалось громко засмеяться, другие ее одергивали. Пусть даже речи о том между нами не заходили, но мы понимали, что для остальных пассажиров мы прежде всего еврейские дети, на которых в любой момент можно напасть. Хотя со мной ни разу ничего подобного не случилось.

Когда я вспоминаю эти годы, меня поражает, что мы, дети, в своем кругу никогда не говорили о собственной судьбе. Если какая-нибудь девочка прощалась с нами перед отъездом в эмиграцию, мы ей завидовали, но завидовали не тому, что она ме-

няла прежде разделяемую с нами судьбу на безопасное существование, а тем приключениям, которые ей предстоят. Того, что наше собственное существование с каждым днем становилось приключением все более опасным, мы не сознавали, как не сознавали, впрочем, и некоторые из наших родителей. Лишь шепотом мы извещали друг друга, когда арестовывали отца какой-нибудь одноклассницы. Как правило, мы и сами об этом догадывались, если одна из учениц вдруг несколько дней подряд пропускала занятия, а подруга заходила к ней узнать, в чем дело. Дальше все шло не по какому-то плану, а, скорее, как неосознанный ритуал: появившаяся в школе после отсутствия ученица первые дни держалась отчужденно, словно отмеченная особой судьбой. Потом это сглаживалось, и мы забывали о происшедшем, должно быть предчувствуя, что любую из нас может постигнуть такая же участь.

Мы, дети, стали свидетелями первой большой волны арестов в июне 1938 года. Она коснулась полутора тысяч евреев. Причем речь шла о людях «ранее судимых», которых власть называла «асоциальными, уклоняющимися от работы элементами». В числе жертв оказался и мой двоюродный брат, потому что где-то когда-то он угодил в автомобильную аварию и был осужден. Несмотря на все это, слова «ранее судимые» представлялись нам столь весомыми, что даже в какой-то степени оправдывали сомнения в порядочности арестованных людей. И хотя мы возмущались незаконностью акции, само по себе событие не слишком нас задело.

Зато куда сильнее задел меня другой, на первый взгляд незначительный случай. Я сидела у фотографа. Как и всякая девочка, достигшая шестнадцати лет, я была не лишена тщеславия. И когда фотограф попросил меня приоткрыть левое ухо, я ужасно растерялась и чуть не заплакала. Вообще-то просьба фотографа была вполне естественной, без каких-либо злобных намеков. И однако же я как удар хлыста ощутила унижение. Счастье еще, что я привыкла к дисциплине. На фотографии не должно быть заметно, каково у меня на душе. Но я знала, что притворство мне не удалось и на снимке будет видна не твердость, а горечь, упрямство и готовность заплакать.

Дело в том, что по форме левого уха можно было угадать расовую принадлежность. Это открытие принадлежало нацист-

ским ученым, специалистам по расовой теории. Согласно этой теории, левое ухо еврея свидетельствовало о его семитских корнях. По этой причине снимки для документов надлежало делать так, чтобы было видно левое ухо. Они предназначались для удостоверения личности, которое каждый, кто достиг пятнадцати лет, должен был, согласно закону от 22 июля 1938 года, постоянно иметь при себе и предъявлять «любому официальному лицу». Вдобавок на удостоверениях для евреев была большая буква «J» на внешней стороне обложки и желтая «J» на внутренней, чтобы не возникло ни малейших сомнений в национальной принадлежности его владельца.

В те дни, когда я ехала в метро или в автобусе, я не раз пыталась по ушам берлинцев выяснить, чем же отличаются их левые уши от моего. И не могла обнаружить никаких отличий. Мое собственное ухо, которое я сотни раз разглядывала в зеркале, вполне походило на арийское.

Родителям я не стала рассказывать о своих переживаниях у фотографа. Я боялась, что они станут смеяться надо мной. В те дни их веселила ходившая по Берлину байка, как на одном мероприятии у нацистов на сцену попросили выйти какого-то человека, дабы на примере его уха наглядно показать его чисто арийское происхождение. Нацист-докладчик ни сном ни духом не ведал, что человек, которого он пригласил на сцену, на самом деле был еврей. По вполне понятным причинам у того не было ни малейшего желания открывать истину перед этим сборищем, поэтому еврейское ухо стало объектом для демонстрации арийских корней.

Было ли так на самом деле, никто в Берлине не спрашивал. Но байку эту передавали из уст в уста. Люди смеялись над убожеством нацистов, и смех помогал многим перенести унижение, которое принес закон 1938 года. Чтобы подчеркнуть «криминальное» начало в каждом еврее, в удостоверении личности была не только предписанная фотография, но и отпечатки пальцев. Левый указательный, правый указательный... Я до сих пор прекрасно помню, как полицейский нашего участка бережно, я бы даже сказала ласково, очищал оба моих пальца от черной краски. Если чувства меня не обманывали, для него эта процедура была мучительнее, чем для меня.



После того как я получила удостоверение, мне впервые пришлось ставить свою подпись с дополнительным именем Сара. Теперь я звалась Ингеборг Сара Дойчкрон. Согласно закону от 17 августа 1938 года, все мужчины-евреи получили дополнительное имя Израиль, а все женщины — Сара. Это дополнительное имя полагалось вписывать между собственным именем и фамилией и с 1 января 1939 года иметь на всех удостоверениях, свидетельствах и тому подобных документах. Нарушение закона, иными словами — пропуск этого имени в подписи, наказывалось лишением свободы сроком до одного месяца.

Я восхищаюсь духовной силой моих родителей, которые, по крайней мере при мне, отзывались об этом подлом законе с веселой насмешкой. Так мой отец говорил о «цорес», которые постигли имя Сара. Слово «цорес», перешедшее и в немецкий язык, равно как и древнееврейское «Zagoth», означает «заботы, беды».

Антиеврейские указы 1938 года свидетельствовали о том, что нацистский режим серьезно вознамерился решить «еврейский вопрос». Налоговые послабления и льготы для евреев, занятых в хозяйстве, были отменены. Наиболее жестоким оказалось постановление от 26 апреля 1938 года о декларировании евреями своего капитала внутри страны или за границей, коль скоро он превышает 5000 марок. Тем самым нацистские власти получали полнейшую информацию о размерах еврейских состояний в германском рейхе. Моих родителей это постановление не коснулось. Семьи служащих, как правило, не располагали такими средствами. И однако я хорошо помню беспокойство, вызванное этим постановлением, у нас и у наших друзей. Дядя и тетя Ханнесы, те, что жили в Шпандау, пришли за советом к моему отцу. А друзья моих родителей, которые сразу после прихода Гитлера к власти приветствовали его в надежде, что он наведет порядок, теперь лишь смущенно молчали.

В июне надлежало официально обозначить заведения, принадлежащие евреям. Я видела, как на Курфюрстендамм ретивые маляры большими буквами выписывали на витринах имена владельцев-евреев. Само собой, с дополнительным именем Израиль или Сара. В июле были лишены лицензии врачи-евреи, в сентябре — адвокаты... Лишь немногим из них разреши-

ли заниматься профессиональной деятельностью как «лицам, лечащим больных» и «консультантам».

28 октября 1938 года от пятнадцати до семнадцати тысяч польских евреев, проживавших в Германии, и те, кого лишили германского подданства, принятого ими после Первой мировой войны, были под покровом ночи арестованы полицией и эсэсовцами и выдворены через границу в Польшу. Им разрешили взять с собой по 10 марок, а из одежды лишь то, что они имели на себе. Возле границы эти люди долгое время скитались по ничейной земле, потому что польские власти сначала отказались от них. Чтобы не принимать преследуемых в Германии польских подданных, правительство Польши заблаговременно постановило, что польский паспорт утрачивает силу, если его владелец более пяти лет прожил за пределами страны.

Утром 28 октября часть скамей в нашем классе оказались пустыми. Когда учительница проводила переключку, многие ученицы уже не могли ей ответить. Не проронив ни слова, она отложила в сторону дневники отсутствующих. Наверно, никогда, ни в одной классной комнате не стояла такая мертвая тишина, как в то утро в нашем классе. Мы все были уже не маленькие, мы уже достаточно видели и слышали, чтобы представить себе, что происходило в ночь с 27 на 28 октября на улицах, где проживали преимущественно еврейские семьи с Востока.

И все это были приметы той политики, которая практически лишала евреев любых возможностей к дальнейшему существованию. Кроме того, евреев травили и унижали всеми мыслимыми средствами государственной власти. У немногочисленных ремесленников-евреев дела, казалось, обстояли лучше. Да и в случае отъезда из страны они бы не пропали. Ремесленники вдруг заделались аристократами среди немецких евреев. Однако я хорошо помню, каким смешным нам все это казалось. Дядя Ханнес начал осваивать производство конфет на курсах при еврейской общине, что вызывало бесчисленные насмешки. Мой отец, у которого были настолько неумелые руки, что он ни разу не смог вбить ни одного гвоздя, решил заняться сапожным ремеслом и начал учиться у еврея-сапожника на Паризерштрассе в Вильмерсдорфе. Сделал он это скорее для того, чтобы потом не пришлось упрекать себя в бездействии, и лишь в последнюю

очередь для того, чтобы когда-нибудь и впрямь заняться сапожным ремеслом. Ножницы для разрезания кожи, которыми в нашем доме почти не пользовались, и по сей день напоминают об этом эпизоде. В конце концов отец нашел место в частной еврейской школе Теодора Герцля.

Школа Теодора Герцля, которая раньше называлась Школа на Кайзердамм, была неполным средним учебным заведением с правом преподавания некоторых предметов на иностранных языках. Здесь воспитывали детей в духе сионизма. Для моего отца это было чудовищной перестройкой. Он, некогда старший ученый советник, он, придерживавшийся вполне светских идеалов и представлений, никоим образом не был убежденным приверженцем сионизма. Однако его редкостный педагогический талант помог ему преодолеть и эти трудности. Чтобы как-то расширить сферу своей деятельности в новой школе, он решил на вечерних курсах получить еще и квалификацию преподавателя Талмуда. Тут ему весьма помогло его происхождение из ортодоксальной еврейской семьи. Давление извне, враждебность и антисемитизм в Третьем рейхе заставили его вновь почувствовать свое еврейство, которое он безоговорочно принял. К тому же он начал изучать бухгалтерское дело и печатание на машинке, что давалось ему с большим трудом, потому что у него к этому не было никаких способностей. Однако отец, с присущей ему энергией и умением сконцентрироваться, в конце концов справился и с этой задачей, которую, собственно, сам же себе и поставил.

Преподавать Талмуд отцу так и не пришлось, зато вскоре ему представилась возможность применить на практике новые познания в конторском деле. Школа Теодора Герцля, где он благодаря своим педагогическим данным и организаторскому таланту вскоре стал заместителем директора, после запрета евреям на преподавание также и в еврейских школах поручила ему выполнять административные обязанности. Вместе с подработкой в одном домоуправлении, которой он занимался свободными вечерами и по субботам, можно было не беспокоиться о средствах к существованию. Правда, дел на него навалилось столько, что я его теперь почти не видела, да и мать, которая до замужества служила письмоводителем, тоже впряглась в хомут. В моей семье забота о деньгах вышла на перед-

ний план. Да и у наших политических единомышленников дела обстояли примерно так же. Господин Рик и господин Таус тоже смогли устроиться на работу, обеспечивавшую материальную сторону жизни.

А вот политические события отступили на задний план. Теперь, казалось, не имело никакого смысла рассчитывать на скорое падение нацистского режима. Ибо ему удалось то, что не удалось демократии за годы Веймарской республики: соседние страны начали с уважением относиться к Третьему рейху. Безработица исчезла. Версальский договор отошел в прошлое.

## ДЕВЯТОЕ НОЯБРЯ

Был вечер. Мы сидели, не зажигая света. Скрипнула входная дверь. Должно быть, кто-то тихо отворил ее. Мать вздрогнула, вскочила и выбежала в переднюю.

— Мартин, что ты здесь делаешь? — окликнула она отца, а тот, бледный, усталый и растерянный, застыл в дверях. Сегодня он казался еще ниже ростом, чем обычно. Отец поглядел на мать беспомощным взглядом. — Ты что, с ума сошел? Ты зачем сюда заявился? — возбужденным тоном спросила она.

— Я думаю, мне надо идти в полицию, — ответил он очень медленно и тихо. — В конце концов, я все еще прусский чиновник, и, если полиция намерена меня забрать, не могу же я просто взять и скрыться.

— Это безумие!

Мать была в ужасе и отчаянии. Потом она заставила отца подтвердить, что он, как обычно, провел день в школе Теодора Герцля на Кайзердамм.

— И после моего звонка тоже? — недоверчиво спросила она.

А куда ему было деваться? Сейчас он решил переночевать дома, а вот утром посмотрим, что будет.

Утром 10 ноября одна новость обгоняла другую. На улицах Берлина разверзся ад. Вооруженные топорами, колунами и дубинками штурмовики ночью 9 ноября разбили все витрины еврейских магазинов, которые благодаря особым обозначениям нетрудно было отличить от других витрин. На Курфюрстендамм среди осколков битого стекла лежали обгаженные манекены. В пустых оконных проемах трепетали на ветру обрывки платьев. А уж мародеры на свой лад дополнили эту картину разрушения и насилия. Внутри магазинов валялись вывороченные

ящики, разбросанное белье, поломанная мебель, разбитый и растоптанный фарфор, смятые шляпы. Густые клубы дыма висели над Фазаненштрассе, где находилась синагога. Подойти туда поближе мы не рискнули. Мы уже знали, что все синагоги «в стихийном порыве народного гнева», как говорили по радио, были подожжены и сгорели. Полиция и пожарные наблюдали за горящими зданиями, заботясь лишь о том, чтобы зеваки не подходили к пожарищу слишком близко.

Мы хотели собственными глазами убедиться в том, что рассказали нам по телефону друзья, а потому и вышли на улицу с утра пораньше. Мои родители, словно окаменев, созерцали эту страшную картину. И вдруг какой-то парикмахер, который стоял в белом халате перед дверью своего заведения и, вероятно, наблюдал за нами, крикнул отцу: «Еврейская морда!» Его жирная, ослабившаяся физиономия выражала откровенное злорадство. Отец вздрогнул и схватил мать за руку, чтобы поскорей уйти.

Но мать у меня была не робкого десятка. «Свинья поганая!» — крикнула она изумленному брадобрею.

Отец побледнел как смерть. «Молчи, ради Бога», — взмолился он, но мать вырвала у него руку и, подскочив к парикмахеру, который хотел юркнуть к себе в дом, еще раз громко крикнула: «Свинья поганая!» Потом обернулась к отцу и сказала спокойным голосом: «Нельзя же, в конце концов, все безропотно глотать!»

«Стихийный порыв народного гнева», если верить сообщениям, в провинции был еще ужаснее, чем в Берлине, там громили частные квартиры евреев, а все это было лишь безобидным зачином «акции отмщения», как ее официально называли, отмщения за «подлое убийство» в Париже поляком Гершелем Гриншпаном немецкого дипломата Эрнста фон Рата. Семнадцатилетний Гриншпан хотел таким образом поквитаться за страдания своей семьи, которую за несколько дней до этого ганноверские нацисты насильственно вывезли к польской границе. Такую версию мы, во всяком случае, слышали уже после войны. А тогда ходили также слухи о гомосексуальных отношениях между фон Ратом и этим юношей. Но были и другие объяснения. «Всемирное еврейство сбрасывает маску» — гласили заголовки утренних газет. За ними следовали пространные сообщения о доблести и жизненных свершениях господина Рата.

7 ноября 1938 года Гриншпан проник в германское посольство и потребовал встречи с послом Вельчеком. Его принял советник Рат. Гриншпан, вероятно, по ошибке предположив, что он и есть посол, выстрелил в него и тяжело ранил. Два дня Рат боролся со смертью. По радио каждый час передавали бюллетень о его здоровье. Наверно, в те дни не одна лишь мать Рата молилась о том, чтобы ее сын выжил.

«Ну, если он умрет...» — такими словами начинались тогда все разговоры среди евреев, которые не без оснований подозревали, что смерть Рата будет нацистам только на руку. И вот 9 ноября он умер. Несколько часов спустя нам позвонил один из друзей и взволнованным голосом сообщил, что моего дядю, богатого предпринимателя, только что забрало гестапо и, надо полагать, отправило в концлагерь. Подробностей никто не знал. Гестаповцы наотрез отказались объяснять причину ареста. Несколько минут спустя мы услышали аналогичное известие. На этот раз речь шла об одном из ближайших друзей моих родителей, гинекологе, который жил в северной части Берлина.

Это продолжалось несколько часов. Раздавался телефонный звонок, кто-нибудь на другом конце провода взволнованно и кратко сообщал очередную печальную весть и тотчас вешал трубку. Тут уж и мои родители принялись обзванивать друзей, о которых к нам до сих пор не поступало никаких сведений. Но куда бы они ни звонили, на звонок или вообще никто не отвечал, или они слышали скорбный женский голос: «Мужа только что забрали в гестапо». Очень скоро мы поняли, что эта операция гестапо была направлена против представителей интеллигенции либо людей состоятельных.

Утром 10 ноября в самом мрачном настроении отец, как обычно, направился в школу. Мне же он велел сидеть дома. Родители договорились через равные промежутки времени звонить друг другу. После чего мать принялась за обычную домашнюю работу, которую, с тех пор как у нас не стало прислуги, всегда выполняла по четкому плану. Точно так же вела она себя и в достопамятный день, 10 ноября. Часов около десяти в нашу дверь коротко и энергично позвонили. По глазам матери я увидела, что она боится так же, как и я. Но дверь все-таки открыла. За дверью стояли двое мужчин в гражданской одежде, рослые, кряжистые, с невыразительными лицами. Мужчины

заявили, что они из гестапо и желают войти. Мать попросила их предъявить документы. Они предъявили. Затем вошли и, опережая мать, проследовали в кабинет отца. Один из них тотчас уселся за отцовский письменный стол.

— Где ваш муж? — рявкнул он, обращаясь к матери, которая стояла напротив него, держась за край стола.

— Понятия не имею, — спокойно ответила мать. — Он, как обычно, ушел из дому рано утром. На работу, я думаю. Но я немного беспокоюсь, потому что по телефону мне отвечают, что его там нет.

На меня посетители не обращали ни малейшего внимания, а я стояла в дверях и умирала от страха.

— Когда ваш муж придет домой, скажите ему, что он должен немедленно явиться в полицейский участок, ясно? — резко и холодно приказал второй мужчина, который так и не сел, словно желал держать ситуацию под контролем.

— Разумеется, — ответила мать и проводила «гостей» к выходу.

Мать заперла за ними и, едва в подъезде стихли шаги, бросилась к телефону, дрожа всем телом.

— А ты покарауль, вдруг они вернуться, — приказала она мне.

И куда я приоткрывала дверь, чтобы было слышнее, она набрала номер школы, где работал отец.

— Спрячься как можно скорей, тебя ищут! — крикнула она, когда ответил отец, после чего трубка была немедля повешена.

Потом она рухнула в кресло и начала размышлять вслух. Надо было известить доктора Островски: а вдруг он сумеет спрятать отца у себя. Но про Островски отец знал и без нее. Может, он сейчас к нему и пойдет. Больше она ничего не могла сделать. Оставалось только ждать. Затем мать снова принялась хлопотать по хозяйству, но работа валилась у нее из рук. От беспокойства она стала невнимательной. Да и я ей мешала, путаясь у нее под ногами. Наконец она решила сходить со мной за покупками. По ее словам, лучше всего делать вид, будто ничего не случилось. И перед самими собой, и перед другими людьми.

В соседнем доме, в витрине магазина готового платья, болтались ключья занавесок, кругом валялись рулоны тканей. Мы глядели как бы мимо разграбленного нацистами магазина, подобно остальным прохожим, которые в этот день почему-то



очень спешили, словно не желая, чтобы их приняли за свидетелей или, того хуже, за укрывателей.

У фрау Геше, хозяйки магазина колониальных товаров на Уландштрассе, все было как всегда. Разве что она встретила нас чуть сердечнее, чем обычно, хотя отношения у нас и так были самые добрые. Не обошлось без намеков на события этой ночи. «Как это понимать?» Молча покачать головой в знак недоумения. За свою долгую торговую деятельность семейство Гешей немало общалось с евреями. В районе Курфюрстендамм проживало много состоятельных евреев, которые ходили в ее магазин. «Хорошие покупатели, — говорила про них дородная фрау Геше, — это покупатели, которые всегда берут товар только высокого качества. И к тому же никогда не забывают про тех, кто у них служит. Вот другие, — и фрау Геше неодобрительно качала головой, — те иногда говорят: «Для прислуги сойдет и подешевле».

Мы вернулись домой с полными сумками, и, когда мать хотела отпереть дверь, она увидела, что оставила дома ключ. «Боже мой, а что, если сейчас позвонит папа!» Тут она совсем расстроилась и несколько минут не могла совладать с собой. Потом снова взяла себя в руки: «Ну, слезами горю не поможешь». Она тут же отправилась к жене нашего вахтера и с улыбкой попросила выручить ее.

«Это такая глупость, такая глупость», — твердила мать извиняющимся тоном, но жена вахтера сказала, что подобные неприятности случаются каждый день, и попросила нас немножко подождать. Дело в том, что ее муж на несколько минут отлучился. Мы можем посидеть у них на кухне, а она тем временем займется делами в других комнатах. И вот мы сидели на жестких кухонных стульях и напряженно глядели через открытую дверь на наш четырехугольный двор с чахлым газоном и входами в подвал. Как все хорошо было видно отсюда! В том числе и людей, которые заходят в дом. Интересно, а знают ли здесь про визит из гестапо? Но молодая жена вахтера ни единым словом не обмолвилась на этот счет.

И вдруг мать прямо зашипела на меня: «Ты что это делаешь?» А делала я «это» почти машинально. На стене, рядом с полкой, где выстроились в ряд фарфоровые кружки, я увидела портрет Адольфа Гитлера — размером с почтовую открытку, но на видном месте, словно фюрер был заступником этого дома.

И моя мать поймала меня на том, что я показываю Гитлеру язык. Мы обе рассмеялись, и напряжение спало. Вообще-то говоря, в квартире у вахтера мы чувствовали себя спокойнее, чем в собственной. Наконец пришел и сам вахтер. Он тоже утешил мать по поводу неприятности, которая случается со многими жильцами. Затем он поднялся с нами по лестнице и открыл дверь одним поворотом своей отмычки.

Как хорошо было снова очутиться у себя дома, хотя дом этот уже давно не был надежной защитой, как раньше.

За весь день мы так ничего и не услышали об отце. Мать принялась чинить постельное белье. Я же то садилась у ее ног, то металась по квартире, то прислушивалась к звукам на лестнице, то выглядывала из окна. Когда стемнело, мы даже не посмели зажечь свет. И снова, и снова спрашивали себя, где сейчас может быть отец. Мать не хотела еще раз звонить в школу. Ведь телефон вполне могли прослушивать, или наш, или школьный. И тут вдруг пришел отец.

Мать помчалась к телефону. Я слышала, как она просит доктора Островски прийти к нам. «Вот пусть он и решает, являться тебе в полицию или нет». Отец беспокойно сновал по комнате. Доктор Островски, некогда бургомистр Финстервальде, позднее — округа Пренцлауэрберг на севере Берлина, а ныне так же преследуемый нацистами за свою деятельность в СДПГ, по-прежнему оставался для моих родителей непререкаемым авторитетом.

— Дойчкрон, вы что, с ума сошли? — закричал он, незамедлительно появившись у нас со своей приятельницей Гретой Зоммер. — Сейчас же отправляйтесь с Гретой к ее родителям в Нойкельн.

Зоммеров мы хорошо знали по Финстервальде. Теперь же они держали лавку продовольственных товаров в Нойкельне, по Гюрингерштрассе, 20. Это тоже служило своего рода маскировкой, потому что Герхард Зоммер был профсоюзным деятелем и не мог оставаться в Финстервальде: в маленьком городке его политическое прошлое не дало бы ему устроить свою жизнь по-новому. Никто не пожелал бы взять к себе на работу человека, «подвергавшегося репрессиям», чаще из страха перед соседями, чем в силу собственных убеждений. А вот в Берлине его никто не знал.

— Вам тоже нечего оставаться дома, — сказал Островски нам с матерью. — Что, если гестапо придет снова и начнет задавать вопросы?

Мы разъехались на двух такси. Островски привез нас к фрау Гизе, пожилой даме, она была социал-демократкой и некогда руководила в Берлине светской школой. Семьи у фрау Гизе не было, она жила одна в двухкомнатной квартире, в домике с садом на Бранденбургштрассе, 36. Островски по телефону, намеками, дал ей понять, в чем дело. Хотя час уже был поздний, она тотчас согласилась принять нас. Все ее общество состояло из двух волнистых попугайчиков Никки и Пиппы, которых мы до этого дня никогда не видели. Попугайчики привыкли свободно летать по ночам, и наше появление их расстроило. Они явно сочли нас непрошеными гостями. Покуда мы сооружали из кресел ложе на ночь, птички возбужденно порхали вокруг, и мать даже испугалась, как бы они не запутались у нее в волосах. Она всю ночь так и не сомкнула глаз, и уж конечно не из-за одних только птиц. Потом их ночью стали держать в клетке, а они сочли это неслыханным покушением на свою свободу, о чем и поведали окружающим жуткими, бесконечными криками. Впрочем, из-за этих птичек мы навсегда запомнили свое двухнедельное пребывание у фрау Гизе. Очень скоро один из попугайчиков взял за правило цепляться за гардину и, раскачивая взад и вперед свое маленькое тельце, громко кричать, подражая интонациям моей матери: «Мартин, ты что, с ума сошел?»

Время от времени отец навещал нас из своей нойкельнской «ссылки», чтобы обсудить положение и подумать о том, как быть дальше. Ведь не могли же мы навек остаться в этом укрытии, хотя, вообще-то говоря, нам здесь жилось совсем неплохо. Несколько раз, когда мы под покровом темноты осмеливались высунуть нос на улицу, нам доводилось видеть мужчин и женщин, которые явно были в таком же положении, что и мы: они встречались в подъезде, поспешно обменивались несколькими словами и так же поспешно расходились.

Фрау Рик, зная, где мы прячемся, сообщила нам, что, по ее мнению, гестапо побывало у нас еще раз. Она вышла на лестничную площадку и увидела перед нашей дверью двух посторонних мужчин. «Вы Дойчкронов ищете?» — спро-

сила она и, получив утвердительный ответ, указала на множество молочных бутылок перед нашей дверью со словами: «Вы разве не видите, что Дойчкроны в отъезде?» После чего оба посетителя ушли.

«А ты не думаешь, что мне надо самому явиться в полицию?» Отец снова и снова задавал этот вопрос. У него не укладывалось в голове, что новой власти с ее преступными законами можно противостоять незаконными средствами. Между родителями то и дело вспыхивали споры, во время которых моя мать, воинственная и энергичная, прибегала к выражениям столь резким, что один из попугайчиков не замедлил их перенять.

Однако без постоянных увещеваний доктора Островски отец вряд ли прислушался бы к советам матери. В разговорах между родителями теперь часто всплывала тема эмиграции. «Надо бы написать родным», — нередко слышала я от них, но до нашего возвращения домой об этом и речи быть не могло. У отца в Англии жила кузина. Она и родилась в Англии, потому что туда эмигрировали еще ее родители. Мы общались с ней и ее семьей не чаще одного раза в год, когда надо было обменяться поздравлениями к Новому году. Изредка мы пересылали им сообщения обо всем, что происходит в Германии, когда кто-нибудь из друзей ездил за границу и потому мог опустить письмо уже там. А что, если моему отцу уехать в Англию? Эта возможность вдруг впервые показалась нам очень заманчивой. Позднее, недели через две, когда мы снова жили вместе и у нас появилось ощущение, что гестапо на время приостановило антиеврейские акции, стало известно, что Англия заявила о своей готовности принять у себя мужчин, которых в те ноябрьские дни отправили в концлагерь.

«Значит, для того, чтобы тебя спасли, надо сперва угодить в концлагерь», — с горечью сказал мой отец. И в самом деле, некоторые из бывших заключенных рассказывали, будто их отпустили, потому что у них было куда уехать. Боже, как они выглядели! Все наголо острижены, многие страшно исхудали, другие до неузнаваемости изувечены побоями, и едва ли не все с поврежденной психикой. Почти никто из них не желал говорить о пережитом в лагере, и не потому лишь, что перед освобождением их заставили подписать бумагу, как хорошо с ними обраща-

лись. А вот о том, что многие умерли в лагере, причем не только старики и больные, рассказывали исключительно по секрету.

Вслед за физическими страданиями на евреев обрушились новые законы и штрафы. Например, миллиард марок в возмещение смерти посольского советника Рата на основании правительственного указа от 11 ноября 1938 года евреи должны были выплатить в четыре срока. Следующий закон возвещал, что евреи должны за собственный счет устранить ущерб, нанесенный их же магазинам и жилищам. Евреям также вменялось в обязанность немедленно восстановить все, что было разрушено. Им отказали в выплате страховых денег за повреждения домов. Специальное коммюнике сообщало, что причина всему этому — возмущение немецкого народа агитацией всемирного еврейства против национал-социалистской Германии, развернутой именно 8, 9 и 10 ноября 1938 года. Далее последовал указ, запрещающий евреям посещать музеи, парки, театры и концертные залы. 23 ноября газета «Фёлькишер беобахтер»\* сообщила в передовой статье, что весь немецкий народ готов к «окончательному и бескомпромиссному решению еврейской проблемы».

И только тогда немецкие евреи начали понимать, что происходит. Ко многим это понимание пришло слишком поздно, ибо с каждым днем эмигрировать становилось все сложнее. Одно за другим государства закрывали свои границы либо ставили невыполнимые условия для въезда: большие денежные суммы, наличие близких родственников, имеющих гражданство данной страны и готовых стать гарантами. Но у многих ли немецких евреев было тогда достаточно средств или были заграничные родственники, готовые за них поручиться? Звон стекол, разбитых 9 ноября, отнюдь не заставил другие страны хоть на йоту изменить свою иммиграционную политику. Для немецких евреев, даже для самых разнемецких, события 9 ноября стали сигналом тревоги. Многие полагали, что на часах без пяти двенадцать. Однако на самом деле для большинства из них часы уже показывали пять минут первого — слишком поздно.

---

\* «Фёлькишер беобахтер» — крупнейшая центральная газета нацистов.

## АНГЛИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ

Маленький, с пепельно-серым лицом — вот каким я увидела своего отца достопамятного 19 апреля 1939 года у окна купе. Обеими руками он крепко держался за оконную ручку, словно не мог устоять на ногах. А мать с перрона уже, должно быть, в десятый раз кричала ему одно и то же: «Ты ведь попытаешься поскорей взять нас к себе? Мне все равно кем, хоть служанкой, хоть кухаркой, только бы уехать отсюда!»

Отец в ответ только кивал. Он выглядел еще более потерянным и беспомощным, чем обычно.

Он смотрел на обеих своих сестер, на их семьи, которые вместе с нами стояли на перроне Лертерского вокзала возле поезда, отходящего на Остенде. Суета и возня под высокими темными сводами нас никак не занимала, мы ничего этого не замечали. Старшая сестра отца плакала так, что сердце разрывалось. Остальные безмолвно утирали слезы.

Мы-то с матерью ни минуты не сомневались, что в самом скором времени последуем за отцом, но ни у кого из отцовских родственников такой надежды не было. Старшая сестра была замужем за прикованным к постели инвалидом, раненным во время Первой мировой войны. За спиной у нее была нелегкая жизнь. Первый ее брак распался, потому что, как шепталась родня, она вела «легкомысленную жизнь». А в то время в буржуазных еврейских кругах царили очень строгие нравы. И потому женщина, наделенная к тому же редкой красотой и не особенно соблюдавшая супружескую верность, становилась в такой среде своего рода «outcast»\*. Второй ее брак с не слиш-

---

\* Outcast — отщепенец, отщепенка (англ.).

ком состоятельным инвалидом, разумеется «организованный», как было принято у евреев в начале двадцатого века, считался своего рода наказанием, причем сестра, просватанная таким образом, еще должна была сказать за это спасибо.

Другая сестра была замужем за человеком много ее старше. Этот брак — тоже заключенный по расчету, а не по душевной склонности — существовал лишь на бумаге и сохранялся, чтобы «перед людьми не было стыдно». Ее муж тоже не мог заниматься физическим трудом, и потому о его эмиграции даже и речи не было. Об этом мечтал лишь брат моего отца, который по натуре был игрок. Родственники считали его безответственным человеком и вообще не слишком принимали всерьез. Родня вечно тревожилась, как бы он не бросил тень на всю семью. Вот почему, когда он заговорил об эмиграции, они и эти разговоры посчитали пустыми. Впрочем, подобно ему, многие евреи рассчитывали тогда получить визу какого-нибудь африканского или азиатского государства, о котором прошел слух, будто оно готово принять эмигрантов.

«Может, удастся сюда или, скажем, туда...» И человек спокойно водил пальцем по карте мира. Или вдруг: «А как обстоят дела с Парагваем?»

«А насчет Новой Зеландии ты ничего не слышал?»

«До меня дошло, что N получил панамскую визу».

«Говорят, за визу в Венесуэлу берут десять тысяч марок».

Эти разговоры напоминали своего рода игру, которая так никогда и не была доиграна до конца. Ибо государства одно за другим закрывали въезд для евреев из Германии. Просто одно чуть раньше, другое чуть позже.

Страшным примером могут послужить скитания корабля «Сен-Луи», который 13 мая 1939 года вышел из Германии и взял курс на Кубу, имея на борту 930 беженцев. Все пассажиры полагали, что у них есть надежные документы (их удалось купить за большие деньги), но, садясь на корабль, они еще не знали, что кубинский президент именно эту визу объявил недействительной. И когда «Сен-Луи» 27 мая вошел в территориальные воды Кубы, кубинское правительство запретило ему приставать к берегу. После мучительных переговоров 2 июня судно снова взяло курс на Европу. Кубинский военный флот получил распоряжение открыть огонь в том случае, если немецкий капитан,

самоотверженно отстаивавший права своих еврейских пассажиров, не покинет кубинские территориальные воды. Трудно сказать, скольким несчастным из этих 930 человек, лишь немногие из которых нашли приют в Англии, Голландии, Франции и Бельгии, удалось выжить.

Моему отцу очень повезло. Хотя до ноября 1938 года он считал эмиграцию делом рискованным, в те страшные дни, когда он подвергался преследованиям и жил на нелегальном положении, ему стало ясно, что мира и покоя здесь больше не будет. Но куда бежать? В Америке жил дядя моей матери, которого все мы считали богачом, поскольку, наезжая в Европу, он любил пускать пыль в глаза. Когда одна из двоюродных сестер матери задолго до тех событий собралась в Америку, выяснилось, что этот дядя только изображал из себя богача. А без точного указания родственников, которые в случае надобности смогут оказать финансовую поддержку, американское правительство разрешения на въезд не давало. Но даже и при наличии таких родственников существовали определенные квоты, ограничивавшие въезд в страну.

В полном отчаянии немецкие евреи пытались найти поддержку у тех, кто сам недавно переехал в Штаты и, по слухам, уже успел встать на ноги. Ведь они должны лучше, чем кто-либо, понять нашу ситуацию, должны знать, что теперь отъезд стал для нас жизненной необходимостью, — тогда много об этом говорили. Но и здесь люди редко встречали понимание. Я хорошо помню, как велико было разочарование наших друзей Блюменталей, которые попросили свою бразильскую родню помочь им с выездом. «Сперва мы откроем второй магазин, а уж потом подадим заявление на ваш въезд», — гласил ответ. Подобные письма — а в те дни их много приходило в Германию — люди воспринимали, как удар дубиной по голове. Строились фантастические планы касательно фиктивных браков с незнакомыми иностранцами — причем вовсе не исключался риск быть обманутым, — и все это лишь ради возможности покинуть Германию.

Несколько лет назад мой отец подал заявление на въезд в Палестину, хотя и понимал, что из-за введенных англичанами ограничений быстро получить визу невозможно. Однако моим родителям это заявление внушало некоторую надежду: вот и



они предприняли какие-то действия, хотя на самом деле никогда всерьез не думали об отъезде в Палестину. Вдобавок они были не сионистами, а просто евреями, которым лишь события в стране напомнили об их принадлежности к еврейству. Впрочем, в те годы быть евреем совсем не обязательно означало быть сионистом. В социалистической идеологии еврейский вопрос всегда несколько затушевывали. Он-де и сам разрешится, когда социализм победит и классовые противоречия, в значительной степени питающие антисемитизм, исчезнут. И тот, кто, подобно моим родителям, разделял эти идеи, не мог вот так в два счета превратиться в сиониста. Даже само возвращение к еврейству далось им с большим трудом. У меня были одноклассницы, для которых жизнь в Эрец-Исраэль представлялась верхом мыслимого счастья. Так, во всяком случае, они говорили. Я же находила это довольно глупым и считала себя гораздо более взрослым и рассудительным человеком, принимая на веру слова родителей, что все это рано или поздно кончится и настанет день, когда мы снова сможем жить в Берлине в мире и спокойствии. Просто надо было как-то пережить нацизм.

Поэтому моих родителей не слишком взволновало то, что близкий друг моего отца, вернувшись в Берлин после недолгого пребывания в Палестине, рассказывал о творящихся там ужасах. Я и сейчас слышу, как он описывает напасти от всевозможной мошкары, грязные закоулки портового квартала в Хайфе, «странных» людей, которых он там встречал. В Германии, пусть даже нацистской, ему все казалось несравненно лучше. Но мой отец выбрал Палестину из вполне практических соображений. Дело в том, что германский рейх переводил в эту страну государственные пенсии, чтобы осевшее в Палестине Храмовое общество могло получать из Германии инвестиции для сельскохозяйственных поселений. Из этого фонда деньги в Палестине выдавали тем, кто получил на это право в Германии. Пенсия моего отца, как ни мала она была, могла бы помочь нам встать на ноги на чужой земле, если уж так сложится.

Разумеется, английская иммиграционная политика ограничивала и эти возможности. Но во всяком случае, те же англичане после памятных дней ноября 1938 года упростили въезд в свою страну для тех, кто побывал в концлагере либо имел в Ан-

глии родственников и мог тут же подать заявление на въезд в другое государство. Иными словами, Англия была готова на какое-то время предоставить убежище некоторому количеству людей. Название «Ричмонд Кэмп»\*, где по приезде размещали беженцев, звучало для нас как сказка. Лишь позднее мы узнали, что те, кто приехал первыми, должны были заниматься благоустройством бараков в этом лагере. Но даже временный въезд помог спасти многих людей. Англия и Швеция открыли свои двери и для детей-сирот. И хотя это разрешение сохранило жизнь еврейским детям, некоторым из них пришлось пережить тяжелую психическую травму, ибо они оказались без родительской поддержки в годы своего становления. Я наотрез отвергла предложение родителей в случае необходимости уехать без них, а они и не настаивали.

Я совершенно уверена, что мой решительный отказ был отчасти вызван событием, невольной свидетельницей которого я стала. Дело было летом 1936 года. Мы ждали на Ангальтском вокзале поезда, чтобы ехать отдыхать. Тогда еще разрешалось ездить за границу, и все, кто мог, пользовались этой возможностью, чтобы немного отдохнуть от тяжелой жизни в Германии. В самом что ни на есть радужном настроении мы с родителями шли вдоль поезда и вдруг увидели, как несколько вагонов, следующих до Генуи, отцепили от состава. Из окон этих вагонов выглядывали молодые люди, явно направлявшиеся в Палестину. А на платформе стояли их матери и отцы. Мучительное отчаяние разлуки, которое ясно читалось на всех лицах, было столь волнующим и сильным, что мне уже никогда не забыть эту сцену. Мне даже стыдно стало, что нам так весело и мы едем отдыхать. Ни мои родители, ни я сама не проронили ни слова о том, что мы увидели, но воспоминания сохранились у меня на много лет.

И тут мы вдруг получаем известие, что отца кузина готова его принять, но только его одного, потому что за каждого иммигранта надо выкладывать весьма значительный залог, который застрахует английское правительство от возможных издержек. Кроме того, поданное им когда-то заявление на выезд

---

\* Richmond Camp — Ричмондский лагерь (англ.).

в Палестину тоже сыграло свою роль и упростило отъезд в Англию, что в то время было сделать совсем непросто. У моих родителей просто камень свалился с души, ведь еще оставалась надежда, что мы обе, мать и я, сможем последовать за отцом — допустим, как прислуга, которая, судя по всему, в Англии была нужна позарез, о чем свидетельствовала и ее визовая политика.

Англия — это ведь совсем близко, это даже более предпочтительная страна для эмиграции, учитывая ее тогдашнюю роль в мире, в сравнении с другими местами, скажем Шанхаем или Алеппо. Это были последние убежища до войны, куда в полном отчаянии стремились попасть немецкие евреи, поскольку здесь пока еще принимали беженцев. Я припоминаю, как мой отец полез в энциклопедический словарь, чтобы выяснить, что там говорится про Алеппо. Оказалось, что это город в Сирии. И в честь него называется заразная болезнь кожи — алеппский прыщ, он же пендинская язва. Мы приходили в ужас при одной только мысли о том, чтобы поехать в Алеппо или к китайцам, о которых мы знали так же мало, если не считать того, что там всегда идет война и царит невообразимая, на взгляд европейца, нищета. Вот Англия — это совсем другое дело.

От своей квартиры мы уже отказались, точнее, нам пришлось отказаться. Правда, у домовладельцев тогда еще не было законных оснований выгонять жильцов-евреев, а вот возможностей сделать это хватало. И наш домохозяин не преминул этим воспользоваться. Но поскольку мой отец вот-вот собирался уехать, а мы надеялись в самом скором времени последовать за ним, то нам и самим казалось нелепым сохранять квартиру. И поэтому мои родители решили уложить вещи, которые имело смысл взять с собой, в контейнер и переправить его в Гамбургский порт, чтобы получить там по первому требованию. Я до сих пор вспоминаю, как родители рассматривали и обсуждали каждую вещь, чтобы решить, стоит ее брать или нет. Мелкие предметы мебели, как все говорили, можно пристроить где угодно. Нам приходилось учитывать, что жилье, которое мы сможем себе позволить, обустроиваясь в новой стране, едва ли будет просторным. И тут начались раздумья: «Письменный стол ни к чему, мебель для спальни тоже». Как обычно, энергия и практическая сметка моей матери взяли верх над нерешитель-

тельностью и сожалениями отца. В конце концов, каждый предмет мебели имел свое, особое значение, и его покупка требовала жертв. Всего трудней далось решение по поводу содержимого книжного шкафа. Если в 1933 году речь шла о политически неблагонадежных изданиях, то сегодня главную роль играл метраж книг. А содержание их ничего не значило. Предстояло все распродать либо раздарить. Эту неприятную задачу мы перепоручили одному «специалисту», и он приступил к ее выполнению привычно и без каких бы то ни было эмоций. Потом явились покупатели и перекупщики.

«Вы что, хотите взять мейсенскую вазу? Это ведь лишний груз».

«Занавески у вас какие симпатичные. Их вы тоже возьмете?»

«Всего три метра книг за такую цену? Уж прибавьте еще полметра».

Покупатели вели себя как стервятники. Никто даже и не думал о том, что нам больно видеть, как рушится наш дом. Для них это был просто удобный случай задешево обставить жилье, причем неумемная жадность охватывала даже образованных и состоятельных людей.

Наконец наше имущество стало таким небольшим, что его можно было упаковать — компактный набор самого необходимого. Деревянный контейнер, предмет, который в те дни можно было часто встретить на улицах Берлина, вместил в себя все, а вот служащий Foreign Exchange Office\* внимательно осмотрел каждый предмет — от электроплитки до пепельницы, — чтобы проверить, внесен ли он в список и не собираются ли его вывезти контрабандой. В контейнере было также несколько вещей из времен моего детства. Куклы, с которыми я и теперь не пожелала расстаться, плюшевый мишка, коньки и теннисная ракетка...

Дорожный паспорт, помеченный буквой «J», был уже вручен моему отцу. Так называемый «налог на бегство из рейха», один из тех садистских налогов, которые ввели специально для евреев, вынужденных бежать, был тоже уплачен. И однако же отец снова и снова откладывал срок отъезда. Впрочем, настал

---

\* Foreign Exchange Office — Служба обмена с границей (англ.).

день, когда наци, хоть и косвенно, установили для него этот срок.

Отец получил вызов в гестапо. На субботу, на девять часов утра. Но поскольку семья у нас была нерелигиозная, мы не обратили внимания на эту гнусность. Когда отец за несколько минут до девяти вошел в комнату, указанную в повестке, чиновник, сидевший там за столом, читал «Фэлькишер беобахтер». Услышав звук открываемой двери, он отодвинул газету в сторону, поглядел на моего отца и завопил:

— А ну, еврей, вас на когда вызывали?

— На девять часов, — отвечал мой отец.

— Вот и приходите в девять. А сейчас вон из комнаты!

Отец вышел из комнаты и начал ходить по коридору. Ровно в девять он снова вошел в ту же комнату. Теперь чиновник был готов им заниматься.

— Ваша фамилия Дойчкрон? — И, не дожидаясь ответа, зарорал: — Еврей не имеет права носить фамилию, где встречается слово «дойч»!

Затем он спросил, какие фамилии были у обеих бабушек моего отца.

— Русс и Бессер, — отвечал отец.

— Вот и выбирайте любую из них.

Впоследствии отец рассказывал, что фамилия Русс показалась ему совершенно неподходящей, коль скоро его зовут Дойчкрон. Поэтому он выбрал Бессер. Отец подписал заранее подготовленное заявление, где говорилось, что он «по доброй воле» отказывается от фамилии Дойчкрон и отныне желает носить фамилию Бессер.

Этот случай смог даже моего отца убедить в том, что ему нужно уезжать как можно скорей, поскольку его паспорт с английской визой был выписан на фамилию Дойчкрон. Спустя несколько недель после отъезда отца меня и мать тоже вызвали в гестапо, чтобы точно так же, «по доброй воле», заставить нас сменить фамилии. Правда, после начала войны даже у гестапо стало туго с кадрами, и потому эта операция была приостановлена.

После отъезда отца мать сняла меблированную комнату в Шенеберге, на Гогенштауфенштрассе. Нас не интересовало,

красива и удобна ли эта комната. В конце концов, нам нужно было всего лишь временное пристанище.

Комната была большая, набитая старой мебелью. Ванная и кухня, как мы обнаружили впоследствии, из-за слабого зрения хозяйки не всегда блистали чистотой. Вообще, это была одна из типичных больших квартир Берлина, с длинным коридором, скрипучими полами, большими, темными, так называемыми берлинскими комнатами, окна которых выходили на квадратный двор. Предложенную нам комнату мы выбрали лишь потому, что в соседней — а они были все сданы — встретили друзей, Макса и Лили Блюменталь. Теперь, когда моей матери приходилось со всем справляться в одиночку, без отца, для нее было большой опорой и поддержкой сознавать, что друзья совсем рядом.

Лили и Макс давно жили здесь, причем, в отличие от нас, по доброй воле. Он, в свое время преуспевающий банкир, попытал счастья за границей и, разочаровавшись, вернулся в Германию со своей чахоточной женой. В те времена многим еще казалось, что лучше терпеть нужду на родине, чем за границей, где для человека, не привыкшего к физическому труду, мало возможностей встать на ноги. Теперь они проедали остатки своего прежнего капитала и дожидались чуда, которое спасет их от нужды.

Отец писал очень интересные письма. Он попал в совершенно иной мир, но найти работу было очень трудно, поскольку разрешения на это ему так и не выдали. Мы, однако, считали его счастливым, тем более что из немецких газет было ясно: Гитлер держит курс на войну. Тогда его интересовали Данциг и Польский коридор. Но невозможно было себе представить, что западные державы снова уступят его притязаниям. Мать писала отцу настойчивые письма, в которых требовала, чтобы он срочно вызволил нас из Германии. «Ты что, газет не читаешь?» — писала она ему, поскольку в письмах, отправляемых за рубеж, было невозможно открыто говорить о политике. Потом она ломала руки от отчаяния, когда в своих ответах отец или вообще не касался этой темы, или пытался ее успокоить. Мать опасалась, что отец неправильно судит о ситуации в стране, как это случалось уже со многими, едва они оказывались на свободе. Письма эмигрантов звучали так, словно они, миновав

границу, забывали все, что пережили. Мать никак не желала понимать, что отцу и впрямь нелегко подыскать для нас обоих место в какой-нибудь английской семье — а ведь это была единственная возможность уехать к нему. У меня все еще звучит в ушах, как она заклинала Паулу Фюрст в самых мрачных красках обрисовать моему отцу положение в Германии и угрозу войны. Паула Фюрст, некогда директор школы Теодора Герцля в Берлине на Кайзердамм, должна была 3 августа 1939 года сопровождать в Англию транспорт с детьми. К великому удивлению своих друзей, она вернулась в Германию, потому что не могла себе представить, как ей жить в Англии. В Берлине у нее была квартира, пенсия, друзья, а вот в Англии? Точно так же рассуждали многие немецкие евреи. Вскоре после ее возвращения до нас дошла наконец добрая весть, что мы обе, мать и я, сможем вести хозяйство у некоего профессора в Глазго, мать — как кухарка, я — как ее помощница. Казалось, ничто больше не помешает нам в самом скором времени переехать в Англию.

Но так казалось лишь несколько недель, потому что 23 августа нас как громом поразила весть о заключении пакта о ненападении между Советским Союзом и Третьим рейхом. Поначалу мы вообще ничего не могли понять, мы сочли этот пакт чудовищным предательством по отношению к странам свободного мира, союзникам в борьбе против нацизма. Потом у нас снова появилась надежда, что этот пакт, по крайней мере, отодвинет угрозу войны. И однако мы с огорчением видели на берлинских улицах молодых людей с рюкзаками и картонными коробками — явно призванных из запаса резервистов. Вдобавок по радио и в газетах население Берлина призывали привести в порядок бомбоубежища и проверить исправность своих противогазов.

В те времена мы почти не общались с нашими прежними политическими единомышленниками, лишь один раз побывали в гостях у доктора Островски. Перед отъездом отца он пообещал ему в случае надобности позаботиться о нас. Но оказалось, что доктор Островски совсем пал духом. Пакт от 23 августа принес социалистам и коммунистам жесточайшее разочарование. «Флаг со свастикой в честь приезда в Москву Риббентропа — у Гитлера, заключившего дружбу с Советским Со-

юзом, теперь развязаны руки». Он это говорил так, словно все еще был не в состоянии постичь случившееся.

Парадоксальное умонастроение таких немцев объяснялось тем, что они всей душой жаждали начала новой мировой войны, твердо уверенные, будто Гитлер потерпит поражение. Лишь таким образом Германия сможет избавиться от нацизма. Имея противниками, с одной стороны, Советский Союз и Польшу, а с другой — Англию и Францию да еще Америку в придачу, войну на два фронта Гитлер проиграет. А заключенный пакт исключал возможность такой войны и тем самым продлевал существование в Германии незаконного режима.

27 августа жена вахтера разносила продовольственные карточки, причем наши были помечены буквой «J». Смысл этой пометки мы узнали лишь позднее: она исключала для нас дополнительное снабжение и покупку ненормированных продуктов. Мать была ужасно встревожена, ибо оформление выезда тянулось и тянулось без конца. В то время она очень мало спала. Я наверняка не была для нее надежной поддержкой, но зато ей помогали наши друзья Блюментали. Каждое изменение, каждый этап событий мы обсуждали у них на балконе. Меня это вполне устраивало, потому что Макс Блюменталь мне очень нравился. Он был первым из взрослых мужчин, который заметил меня. С каждым днем этот привлекательный человек с густыми черными волосами, темными глазами и высоким лбом значил для меня, семнадцатилетней девушки, все больше и больше, в чем я, конечно, никому не признавалась. Порой он танцевал со мной или даже водил выпить чашечку кофе. Он научил меня любить песни Шуберта и Гуго Вольфа. Я слушала их на пластинках у Блюменталей. И это были — как ни невероятно прозвучат мои слова — лучшие минуты в жизни девушки, которая не имела возможности знакомиться с молодыми людьми своего возраста и даже не сознавала, что подобное знакомство вполне естественно.

«Точно как тогда, точно как раньше», — говорила моя мать, указывая на солдат, которые вели под уздцы лошадей по нашей улице. Мы чувствовали, что Гитлер готовит войну. Пакт с Советским Союзом давал ему возможность провоцировать Запад, не опасаясь вмешательства с Востока. Душераздирающие истории про злодейства поляков по отношению к проживающим в



Польше немцам заполняли страницы газет. Вот так же все было и перед мюнхенской конференцией 1938 года. Тогда фюрера «тревожила» судьба судетских немцев, которые якобы ужасно страдают от преследований со стороны чехов.

А потом пришло сообщение: 1 сентября немецкие войска перешли польскую границу. «Это война», — почти беззвучно сказала мать. У Англии, связанной договором с Польшей, не оставалось выбора. Она должна была вмешаться. Мы попытались созвониться с отцом. «Фройляйн, попробуйте еще раз», — заклинала мать.

«Англия не отвечает», — коротко объяснила телефонистка. И Англия не отвечала шесть страшных лет подряд.

## В БЕРЛИНЕ ГАСНЕТ СВЕТ

1 сентября 1939 года могло показаться, будто Германия просто играет в войну. В середине дня объявили воздушную тревогу. И по сей день я не знаю, настоящая это была тревога или нет. Вероятно, правительство рейха решило убедить население в том, что у Германии и в самом деле есть злобный и коварный враг. Все дисциплинированно спускались в убежище с полным комплектом на случай воздушной тревоги, который, согласно инструкции, должен был содержать бутылку питьевой воды, кой-какие продукты и лекарства, а через плечо у всех висели сумки с противогазом. Выглядело это довольно смешно. Люди послушно сидели на своих местах, вглядывались в темноту и шепотом рассуждали о том, что это за тревога такая. Над нами, наверху, стояла зловещая тишина. Ответственный за противовоздушную оборону, одетый в новую форму, проверял по списку, кто из жильцов дома присутствует, и с важным видом давал указания, как вести себя в случае грозы, где стоит вода для тушения пожаров, а где находится запасный выход. Нас, евреев, он направил в самый дальний угол подвала, там мы и сидели тихо, как мыши, не смея бросить взгляд на своих арийских соседей. Когда через тридцать минут полнейшей тишины снова дали отбой, мы «почтительно» пережидали, пока из подвала выйдут арийцы.

Это был первый вечер с затемненными окнами. Законопослушные граждане изрыгали страшные проклятия по адресу тех, из чьего окна пробивался хоть малейший лучик света. Сотни берлинцев в темноте выходили на улицу, чтобы поглядеть на Берлин без огней и без обычной световой рекламы, к примеру без вспыхивающей через равные промежутки времени надписи

«Саротти-Морхен», без пузырящегося в бокале шампанского от Дейнхарда, что на углу Курфюрстендамм и Йоахимсталерштрассе. Какая картина! В тот первый вечер все это еще было внове. Лишь луна и звезды озаряли ночной город. Церковь Поминовения, уродливый символ западной части Берлина тех дней, в темноте казалась даже красивой, ибо лунный свет облагородил ее, придав нежные очертания.

Нацисты использовали начало войны как повод издать множество ограничительных постановлений. Отпала необходимость считаться с критикой из-за рубежа. Самый суровый приказ этих дней, касавшийся неевреев, запрещал им слушать по радио иностранные передачи. Неповиновение каралось штрафом, а позднее даже смертью. Правительство обращалось к народу с призывом доносить в полицию на всех, кто не соблюдает запрет. Для противников нацизма иностранные передачи после 1933 года очень много значили, ибо сообщали сведения, которых не было в нацистских средствах информации, например о политической ситуации в других странах, о реакции на действия Третьего рейха, а помимо того, и кое-что о событиях внутри самой Германии, о которых нам знать не полагалось, — об арестах противников нацизма, преследовании евреев, сопротивлении в немецком вермахте и т. п. Для большинства слушателей эти радиопередачи имели такое значение, что они были готовы даже преступить закон и лишь старались соблюдать осторожность.

«А у меня есть наушники», — с торжествующим видом сказал Франц Гумц. Он держал прачечную и гладильную мастерскую по Кнезбекштрассе, 17, и мы уже много лет отдавали ему в стирку белье. Забирая у нас грязное или доставляя выстиранное, он непременно подсаживался к нам и начинал рассуждать о политике. Нацистов он ненавидел, потому что состоял в секте Свидетелей Иеговы, которых в Третьем рейхе тоже преследовали. Франц Гумц был человек простой и наивный, позаимствовавший свои взгляды из книг. Теперь же он, как и многие в те годы, сидел по вечерам перед радиоприемником и пытался поймать очередную передачу Би-би-си, в которой черпал надежду и утешение. Это было совсем не легко: тогда Англию глушили. Ничто не могло быть досадней, чем слышать лишь обрывки слов, не улавливая между ними связи. Через некото-

рое время раздобыть в Берлине наушники стало совершенно невозможно. Спросить их в магазине, где тебя не знают, люди обычно не решались. Тот, кто слушал зарубежные передачи, всегда придерживался правила: по окончании передачи сдвинуть рычажок настройки. Бывая в гостях у друзей, я не раз становилась свидетельницей семейного скандала, когда глава семьи, взволнованный сообщением по радио, забывал про рычажок. Позже диктор Би-би-си в конце каждой передачи стал напоминать об этом.

А по поводу евреев в последующие месяцы было выпущено множество указов и распоряжений, чтобы, как там говорилось, помешать их «антигосударственной деятельности». Для начала им предписывалось сдать все радиоприемники. Потом у них отключили телефоны. Евреям запрещалось с 20 часов до 5 утра, а летом — с 21 часа покидать свое жилище. Им полагалось до отбоя не выходить из бомбоубежища, чтобы они не смогли подавать врагу световые сигналы. Для евреев не существовало больше никакой защиты, как для обычных граждан. Евреи должны были сдать меха, фотоаппараты, электроприборы и даже утюги. По привычке мы с матерью не обращали внимания на эти распоряжения — пока удавалось. А радиоприемника, с тех пор как мы ликвидировали свое хозяйство, у нас вообще не было. Не сдали мы и другие приборы. Все больше и больше наших вещей перекочевывало к Рикам. Они были нашими «хранителями», как в шутку называли подобных людей. Почти у каждого еврея был друг-нееврей, который оказывал ему эту дружескую услугу. Так что порой дорогие персидские ковры устилали пол в каком-нибудь садовом домике под Берлином, бесценные музыкальные инструменты лежали в сырых подвалах, меховые манто висели в плотных мешках где-нибудь на чердаке, потому что у арийских друзей просто не находилось другого места. Далее евреям запретили посещать кино, театры и концертные залы. Парки и другие публичные места были для них также закрыты. Им запретили даже сидеть на скамьях, ранее помеченных именно для них звездой Давида. Некоторые районы Берлина вообще были объявлены для них запретной зоной, в том числе, разумеется, и правительственный квартал.

Естественно, только из-за своей молодости я беззаботно говорила матери, что не намерена соблюдать эти запреты. Мне

нужно было время от времени ходить в театр, мне нужна была музыка или прогулка по Груневальду. Я просто задыхалась в тесных рамках еврейского общества. Разговоры там шли исключительно о тех пакостях, которые учинили нацисты, и о тех, которые нам еще предстоит пережить. Страх и мрачные предчувствия определяли тон всех этих разговоров. Люди сами себя истязали.

«Я слышал от одного вполне надежного друга, который, в свою очередь, получает прямую информацию из министерства пропаганды, что нацисты планируют то-то и то-то». И все, что происходило, распространялось по информационному каналу, который мы называли ОЕР, то есть Один Еврей Рассказывал, из дома в дом, пугая и терзая и без того встревоженных людей.

Мне даже удавалось уговорить мою мать сходить в театр или на концерт, которые в то время были весьма высокого уровня, поскольку нацисты не скупилась, желая поддерживать у народа «настроение». Многие из них и по сей день сохранились у меня в памяти. Среди них великолепный балет из «Летучей мыши» в Берлинской опере, гала-представление, которое давали на Новый год, или незабываемое исполнение Гансом Альберсом роли Мюнхгаузена в одноименном фильме, с большой pompой поставленном к двадцатипятилетию УЕФА.

Потом евреям запретили сдавать белье в прачечную и посещать парикмахерские. Однако наверняка не было ни одного человека, который соблюдал бы все эти запреты без исключения. Питайся мы, к примеру, только теми продуктами, которые нам полагались официально, ни у кого из нас не хватило бы сил справляться с введенными вскоре принудительными работами на берлинских фабриках, на погрузке угля или на вывозе мусора.

У берлинских евреев было почти все, чего им не полагалось по продуктовым карточкам. Об этом заботились другие жители города. И прежде всего владельцы продовольственных магазинов, которые подсовывали «неположенное» своим постоянным покупателям. Раз в неделю мы с матерью ездили к Рихарду Юнгхансу, ранее социал-демократу и другу моего отца, открывшему после того, как он лишился поста в профсоюзной организации, продовольственный магазинчик на Берлинерштрассе, в том самом месте, где сейчас площадь Эрнста Рейтера. Он

снабжал нас фруктами и овощами, словно это само собой разумелось. То же можно сказать и о мяснике Крахуделе, который держал палатку на воскресном базаре на Виттенбергплац и у которого мать делала покупки вот уже пятнадцать лет. Он и теперь отпускал ей то же количество мяса, которое много лет подряд наше семейство съедало за неделю, не требуя ни единого продовольственного талона.

«Немножко для варки, немножко для жарки и кое-что потушить?» — как всегда, вежливо спрашивала фрау Крахудель.

Снабжение берлинских евреев стало хуже, но ведь это касалось и нееврейского населения. Гимн во славу мужественных людей, которые под угрозой доноса соседей-нацистов выручали своих покупателей-евреев, так никогда и не будет написан, ибо тех, кто мог его написать, давно уже нет в живых. Тогда рассказывали об одной женщине, которая, решив, что к ее дверям подошли гестаповцы, побросала с балкона на улицу лимоны и яблоки, чтобы не подвести своих поставщиков. История вполне правдоподобная.

От моего отца через Красный Крест пришли первые письма. Мы тоже имели право писать ему 25 слов раз в месяц на заранее отпечатанном бланке. Порой мы часами размышляли над той или иной фразой, стараясь по возможности не тревожить его. Но в то же время нам хотелось, чтобы о нашей жизни в Берлине узнали как можно больше. Мы писали иносказаниями и намеками, совершенно упуская из виду то обстоятельство, что люди, живущие на свободе, не сумеют понять наши словесные выкрутасы, пусть даже в свое время они прекрасно их понимали. Письма от отца через Красный Крест, содержание которых мы пересказывали родным и знакомым, приходили крайне нерегулярно.

И чем дольше шла война, чем больше бомбили друг друга воюющие стороны, тем реже приходили эти письма, но когда уж они приходили, то приносили огромную радость. Тогда эти 25 деловых и сдержанных слов так обсуждали и толковали, словно там было не 25 слов, а 25 страниц. Некоторые, весьма немногочисленные «настоящие» письма отца мы получали поначалу через нейтральные страны — через друзей в Америке или даже через Шанхай. Иногда они добирались до нас недели,

а то и месяцы. Это было самым убедительным доказательством, что мы в плену и выхода у нас нет.

Немногим вызывавшим нашу глубочайшую зависть людям удалось выехать из Германии уже после начала войны. Причудливыми окольными путями, чтобы миновать страны, где идет война, некоторые из них попадали в США, другие в Шанхай, были и такие, что решались на нелегальный выезд в Палестину по чудовищно дорогим поддельным документам, на сомнительной принадлежности судах. И далеко не всем удавалось добраться до места.

События на польском фронте нас не удивляли, удивляла разве что скоротечность этой войны. От победных фанфар, которые звучали по немецкому радио после каждого выигранного сражения, у нас ломило уши. Кроме того, нам было совершенно непонятно, что происходит на Западе. «Их ведь должна остановить линия Мажино!» Мы сотни раз говорили это себе до тех пор, пока сей защитный вал не рухнул как бы сам собой. Время от времени в Берлине объявляли воздушную тревогу, но за весь этот срок на город не упало ни одной бомбы. А когда наконец такое случилось, об этом говорили повсюду. Люди сотнями ходили на Крамерштрассе, что неподалеку от Савиньплац, чтобы своими глазами увидеть руины.

1 апреля 1939 года я кончила учиться. Но произошло это не по доброй воле, просто наци закрыли все еврейские школы. Во всяком случае, я получила «годичное» образование, что приравнивалось к законченному школьному. Со своими одноклассницами я по-своему отпраздновала окончание учебы: танцевали шерочка с машерочкой. Танцевать мы научили друг дружку во время школьных перемен. Разумеется, для евреев не существовало уроков танцев, как полагалось раньше для всех девушек из хороших семей. Да и встречаться с мальчиками нашего возраста мы не могли. Опасение, что где-нибудь в кафе или в парке тебя опознает какой-нибудь нацист и грубо с тобой обойдется, душило в зародыше всякую радость от подобного флирта.

Мальчик из параллельного класса по имени Герт, который явно приметил меня, каждый день ездил со мной в одном вагоне, хотя сам он жил в другой части Берлина. Только там мы могли незаметно для других перекинуться несколькими словами и по глазам угадать взаимную симпатию.

Ответ на вопрос, чем мне заняться до отъезда, никаких затруднений не вызывал. Тем более что и выбирать было практически не из чего. Я могла стать прислугой в каком-нибудь еврейском семействе или поступить на фабрику. Возможностей чему-то выучиться для евреев почти не осталось. По причинам, мне до сих пор непонятым, еврейские курсы в Берлине-Груневальде, которые готовили воспитательниц детских садов, не только не были закрыты, но даже получили государственную аттестацию. Там я начала учиться на воспитательницу детсада. Я была убеждена, что все равно не закончу эти курсы, потому что уеду из страны гораздо раньше, и считала свою учебу занятием временным. Так, впрочем, рассуждала большая часть моих соучениц, которые раньше наверняка поступили бы в университет. Руководительница курсов, госпожа доктор Леонора Френкель, как я узнала позднее, нееврейская жена еврея-эмигранта, учила нас так, словно на свете нет ничего более важного, чем приобщение молодых девушек к трудовой жизни. Вскоре занятия начали доставлять мне удовольствие. Учеба, особенно уроки педагогики и психологии, открывала передо мной новый мир. То, что мы изучали, явно выходило за рамки знаний, необходимых воспитательницам. Поэтому неудивительно, что уровень нашей подготовки был необычайно высок, это даже отметил присутствовавший на наших выпускных экзаменах «нацистский папа по культуре», некто Ганс Хинкель.

Первые шаги в воспитании детей я предприняла в еврейском детском саду на Грольманштрассе. Правда, воспитательницы вечно нервничали, тревожась за свою участь, а родители, приводившие по утрам детей в садик, нервничали и того больше, однако в остальном наш сад ничем не отличался от других. Малыши белокурые, русые, со светлыми или темными глазами, веселые и резвые, заполняли помещение звонким щебетом. В мою практическую подготовку входила также работа в семьях. Поначалу меня отрядили в семейство Кейль, которое жило в Доме для бедняков при еврейской общине, типичной казарме, расположенной в темном дворе позади синагоги, на Песталоцциштрассе, 15. Еду они получали из большой, находящейся при доме кухни, которую устроили для нуждающихся евреев.

В свое время Кейли были весьма состоятельными людьми. Они держали в Берлине несколько сапожных мастерских. Но



по причинам, которые я уже не могу припомнить, в 1933 году Кейля арестовали и конфисковали все принадлежавшие ему заведения. Когда его выпустили из концлагеря, он был уже нищим и больным человеком. Он сильно обморозил руки и ноги и очень страдал. Сколько я его помню, у него не было никакой работы, и он получал от еврейской общины скромное вспомоществование, потому что государство сняло с себя всякую заботу о евреях.

Когда я впервые пришла к Кейлям, то увидела, что его жена в положении, а у них уже было двое детей. На Песталоцциштрассе они жили в большой темной комнате без занавесок на окнах, из обстановки там имелись только железные кровати, простой кухонный стол да несколько деревянных стульев. В крохотной каморке рядом с комнатой спал их маленький сын. Я должна была помогать убираться и приглядывать за трехлетней девочкой, что мне совсем не нравилось. Меня тяготили нищенские условия их жизни, а кроме того, я боялась беременной хозяйки. Она была особой несдержанной, на лице — вечная гримаса страдания. Я радовалась, когда могла уйти домой из этой тягостной атмосферы Дома для бедняков, возле которого слонялись измученные, страдающие от жестокой нужды люди. И еще я очень боялась, что при мне у хозяйки начнутся роды. Но прежде чем ребенок появился на свет, я получила новое место на севере Берлина, неподалеку от Франкфуртерштрассе.

Это был рабочий район. У большинства домов имелись задние дворы, в которые никогда не заглядывало солнце. В квартирах не было ни ванн, ни туалетов, лишь холодная темная уборная на каждом этаже. Семейство — муж сидел в концлагере — состояло из энергичной молодой женщины с грубым лицом и ребенка нескольких месяцев от роду, за которым мне и предстояло ухаживать. Не наци ввергли эту семью в бедность. Я впервые увидела, что среди берлинских евреев есть и бедняки. В однокомнатной квартире пахло затхлостью, а сама она была темная и холодная. Плюшевый диван и другая мебель, купленная, вероятно, в лавке у старьевщика, были грязные и потертые. А на полу ползал малыш, приветливый и пухлый. К величайшему негодованию матери он еще не умел проситься на горшок, а ей не хотелось стирать пеленки. Если после нашего возвращения с прогулки она видела, что ребенок опять мок-

рый, то била его палкой по животу, и, как я ни старалась, мне не удалось отучить ее от этой дикости. Крики малыша звучали у меня в ушах, даже когда я шла домой. Ясно, что малыш был ей в тягость.

Потом меня направили на работу в старую часть Шарлоттенбурга, к двум очень пожилым дамам. Они жили в своей однокомнатной квартире словно на острове. Никто с ними не общался. Семьи у них не было. Так они и влачили свое существование изо дня в день, дожидаясь неизвестно чего. Себя и свою квартиру они содержали опрятно, насколько это позволяли их силы, и были признательны за любую помощь. Лица у обеих были серого цвета, а по их приветливым глазам нельзя было узнать ни о том, что им пришлось выстрадать, ни о том, что они знавали лучшие дни.

Вскоре после начала войны нацисты прекратили выплачивать пенсию моему отцу на том основании, что он живет во вражеской стране и что мы, следовательно, не можем претендовать на эти деньги. Нам пришлось сократить наши расходы, хотя в то время даже при всем желании нельзя было много истратить. Нормы продовольствия резко сократили, промтоварных карточек для покупки одежды евреям вообще не выдавали. Мы переехали в более скромную комнату в Ганзейском квартале. Кржешчны, наши новые хозяева, были очень приятные люди, оба уже в пенсионном возрасте, с чахоточной дочерью, красивой блондинкой, искавшей всего, что сулит хоть немножко радости, искавшей и находившей. Она умерла еще до начала депортации из-за нехватки лекарств и еды. Вся семья тщетно ждала разрешения на выезд в Австралию: их собиралась вызвать к себе старшая дочь. Нам нравилось жить у них. Это были добросердечные люди, которые делили с нами все, что имели, и приняли нас в свою семью.

Мы жили тогда как в трансе. Шла война. После падения Польши ничего особенного не происходило. Порой объявляли воздушную тревогу, но тогдашние налеты английских бомбардировщиков были столь безобидны, что многие даже не вылезали из постелей при звуке сирены. Не иначе как у англичан глаза косые, острили берлинцы, имея в виду, что редкие бомбы или падали рядом с целью, или поражали незначительные объекты. Словом, война выглядела совсем не так, как мы ее себе

представляли. Та самая, которую, как мы надеялись, Гитлер проиграет в два счета. А Гитлер, напротив, стал бомбить Англию еще сильнее. По радио то и дело звучало: «Мы на Англию, на Англию идем!» и еще: «Сегодня у нас Германия, а завтра у нас весь мир». Нам, евреям, становилось жутко, мы испытывали страх. А что, если Гитлер вопреки всем ожиданиям выиграет войну? Маленькая фрау Оппенгеймер (ее муж был некогда адвокатом и другом моего отца) сказала матери, встретясь с ней на улице: «Мы этого уже не переживем. Потому что просто не выживем». Даже непонятно, откуда она набралась храбрости, чтобы вслух произнести то, чего мы все не желали знать, о чем не желали даже думать. Своего тринадцатилетнего сына они еще до начала войны отправили в Англию. Позднее, перед самой депортацией, Оппенгеймеры лишили себя жизни, следуя своему принципу: «Нас они не получат».

По случайному стечению обстоятельств я в то время могла узнать много больше других о том, что происходило между гестапо и еврейской общиной. В качестве так называемой приемной дочери я работала в семействе доктора Конрада Коэна. Пройдя всего лишь годичный курс обучения на воспитательницу, я не могла по-другому зарабатывать деньги. Тем более что это было все же приятнее, нежели работать на фабрике. А других дозволенных возможностей у нас не оставалось.

Коэны жили в пятикомнатной квартире по Литценбургерштрассе, 8. Мне надо было убираться в четырех комнатах, а в пятой жили их родители. Я должна была мыть окна, стирать сорочки и заниматься с одиннадцатилетней дочерью Коэнов Марианной. Мой рабочий день продолжался с семи утра и до позднего вечера. От обычной служанки меня отличало лишь звание «приемной дочери» и право есть за общим столом со всей семьей.

Хозяйство Коэнов не претерпело никаких изменений с того дня, как они поженились. Все свидетельствовало о благосостоянии. Персидские ковры, дорогие картины, старинные гравюры, антикварная мебель, прекрасное серебро и хрусталь. В отличие от остальных еврейских хозяйств у Коэнов покамест все оставалось по-прежнему. Они ничего не продали, ничего не припрятали, опасаясь возможного появления нацистов. Конрад Коэн, некогда известный адвокат в Бреслау, настаивал на

том, чтобы даже при столь угрожающих обстоятельствах их жизнь оставалась такой же. По его словам, он просто не мог существовать в других условиях. Гости, которых мне тоже полагалось обслуживать, ели за роскошным столом с серебряными приборами и антикварными светильниками. Порой эта роскошь казалась мне почти зловещей, ибо находилась в вопиющем противоречии с нашей жизнью, потерей жилья, душевными страданиями и неопределенностью. К моему великому огорчению, Коэн каждый день менял сорочки — примета роскоши, которую навряд ли кто-нибудь мог себе позволить, если не считать представителей кругов, задающих тон в обществе. Питался он деликатесами и другими продуктами, которые к тому времени стали уже почти недоступными, а потому считались особенно ценными, причем это не вызывало возражений других членов семьи и его родителей.

Отец его, санитарный советник доктор Коэн, был всем довольный, приветливый пожилой господин. А мать все недолюбливали из-за ее сварливости. Пожилая дама пеклась о благополучии своего сына и при каждом удобном случае напоминала невестке, что та, хоть и происходит из богатой семьи, все равно недостойна быть женой Конрада Коэна. Словом, нельзя сказать, чтобы у Коэнов царил приятная семейная атмосфера. Не диво, что общая любимица, одиннадцатилетняя Марианна, неизменно получала то, что вбивала себе в голову.

Мне приходилось так много работать, что я совершенно не имела времени, чтобы опомниться и поразмыслить. Порой я плакала от усталости, становившейся еще сильнее из-за нескончаемо долгих ночей, которые мы просиживали в бомбоубежище, хотя на нас так и не упала ни одна бомба. Кроме того, я была вечно голодна, мне не хватало еды, чтобы выносить такую физическую нагрузку. Один раз я даже украдкой отковырнула кусочек омлета, который приготовила для хозяина, но меня на этом поймали, и я стореда со стыда.

Леонора Коэн, молодая хозяйка дома, была на редкость красивая женщина, высокая, стройная, с тонкими правильными чертами лица. Где бы Леонора ни появлялась, она неизменно привлекала внимание. Прекрасно сознавая впечатление, производимое ею на мужчин, она охотно предавалась невинному флирту. Мужа она и без того видела редко. В ту пору Коэн воз-

главлял отдел попечительства при Государственном объединении евреев в Германии. Этот отдел руководил деятельностью открытых и закрытых попечительских организаций берлинских евреев, которые все без исключения подчинялись нацистским властям. Конрад Коэн, человек в высшей степени умный и находчивый, дома мало говорил о своей работе. Лишь порой нам доводилось слышать о его визитах в гестапо. «Это всякий раз как танец на канате», — говорил он. Коэн никогда не мог с уверенностью сказать, что после такого визита вернется домой целым и невредимым. «Вот недосчитаются одного куска мыла, а мне это может стоить жизни». Мы понимали, что он имеет в виду.

В этом же доме, только этажом ниже, жили Мориц Хеншель и его жена. Хеншель возглавлял еврейскую общину в Берлине. С Коэном его связывала совместная работа, которая в то время сводилась к постоянным усилиям хоть как-то облегчить судьбу евреев в Берлине. Многие берлинские евреи терпели жестокую нужду. Были люди, которых война разлучила с близкими, люди, которых лишили возможности работать по профессии, а они не имели достаточно сил для тяжелых принудительных работ. Функционеры еврейской общины и Государственного объединения евреев вызывали зависть, людям казалось, будто у них гораздо больше возможностей и даже власти. Это было обманчивое представление, хотя сами же функционеры порой сознательно его создавали и поддерживали. Щедрое и изысканное гостеприимство в доме Коэнов иногда вызывало у меня впечатление, будто люди, принимающие участие в подобной трапезе, вполне достойны зависти со стороны множества глубоко несчастных жителей этого города.

К кругу коэновских гостей принадлежали Лилиентали, он — бывший судья в Берлинском земельном суде, позднее генеральный секретарь Государственного объединения. От эмиграции Лилиентали отказались еще в 1939 году, ибо полагали, что должны «выстоять». Другие, например Паула Фюрст, Анна Камински, Франц Ойген Фукс, которые также работали в Государственном объединении, считали, будто они «все еще нужны в Берлине». Лишь позднее я поняла, что они прекрасно сознавали этот самообман, когда, собравшись вместе, говорили о Гейне, цитировали Гёте либо затевали дискуссии о Гегеле и

Канте, словно им больше и тревожиться не о чем. Их поведение пугало меня. Я чувствовала себя как дома лишь там, где люди в меньшей степени были оторваны от реальности. А совсем укрыться от этой реальности было невозможно.

Богатой сестре моего отца выделили на двоих тесную комнатушку. Там она и сидела со своим мужем, не смея высунуть нос на улицу. В маленьком Шпандау, где они держали магазин, их знали все. Им нередко приходилось выслушивать грубую брань, и лишь немногие осмеливались открыто выразить им симпатию. Магазин их заставили продать за гроши прослужившему у них много лет приказчику. Другая сестра моего отца работала в еврейском доме для престарелых, чтобы прокормить себя и своего мужа, инвалида войны. Брат отца и его семья все больше и больше увязали в нищете, а жили они в тесной квартирке, которую им дали.

Моя мать начала работать в благотворительной организации еврейской общины, которая в то время изнемогала под бременем просьб и заявлений. Так как поначалу я жила отдельно, она перебралась к своей подруге, которая тоже была родом из Кеслина. Подруга занимала большую квартиру на Иннсбрукерштрассе, 58, от которой ей пришлось бы отказаться, не сдай она одну комнату. Тетя Ольга была типичной дамой из хорошего общества начала века. С пенсне на носу и с высокой прической, которую держала тонкая сеточка, эта семидесятилетняя особа ходила по своим комнатам как по дворцу. Она питала слабость к высоким словам и широким жестам. «Моя сказочная племянница! Великолепнейшая женщина! Какой изумительный человек!»

Тетя Ольга говорила обо всем исключительно в превосходной степени. В квартире у нее еще оставалось несколько предметов старинной красивой мебели. Нужда вынудила ее постепенно распродавать свое имущество, чтобы было на что жить. Великолепные жесты, которыми она сопровождала эту распродажу, уверили даже ее самое, будто все происходит исключительно в соответствии с ее желаниями. Она продолжала жить как бы на облаке счастья, играла в карты, предпочитая ромме, искала общества, была великодушна к людям, любила посмеяться и упорно игнорировала все плохие новости. Она умела

обходиться с людьми и даже в те времена вызывала благосклонное к себе отношение.

Со своей соседкой Эльзой Бехерер тетя Ольга поддерживала весьма тесное дружеское общение, что, разумеется, можно было делать лишь тайно, на черной лестнице. В результате кусок любого пирога, испеченного в доме у Бехереров, попадал к нам. Эльза Бехерер была убежденной противницей Гитлера. Любой комментарий в адрес Третьего рейха, который ей удавалось услышать по Би-би-си, лишний раз убеждал Эльзу в правильности ее взглядов. Кроме того, она верила в астрологию и определила по расположению звезд, что Гитлер есть всего лишь временное явление и жить ему осталось недолго. Свои взгляды она подкрепляла вполне убедительными доводами. Мужа госпожи Бехерер призвали в армию, а у нее снимал комнату один полуеврей, освобожденный от военной службы. В обширном кругу ее знакомых не было ни единого нациста. Как бы поздно я ни постучала вечером в ее дверь, меня всякий раз просили зайти. Без тени сомнения она представляла меня своим гостям. Я наслаждалась этими вечерами, ибо здесь у людей были другие темы для разговора, а не только эмиграция или злоба грядущего дня. Одним из ее еврейских друзей был некто Вальтер Скольны, белокурый и голубоглазый человек, по профессии коммерсант. Он любил беззаботную жизнь и долго не мог понять, с чего это нацисты так на него взъелись. Фрау Шрёдер, типичная для Берлина жена вахтера, знавшая решительно всё и про всех, кто жил в нашем доме и в округе, была третьей в их компании. Крупная, грузная женщина, она с трудом ходила по лестницам, но была наделена острым, пытливым взглядом, который становился, однако, кротким и даже ласковым, когда она разговаривала с нами. Страха фрау Шрёдер, судя по всему, вообще не ведала. Порой она без обиняков выкладывала свое мнение, завершая его кличем «хайль Гитлер!». Лишь один-единственный раз я увидела страх на ее лице. Как-то вечером в нашу дверь громко и резко позвонили. За дверью стоял полицейский, а позади него — фрау Шрёдер.

— У вас светомаскировка неплотная, — сказал он и, подойдя ближе, шепнул тете Ольге: — Вы ведь евреи. — Об этом свидетельствовала звезда, которой с недавнего времени была помечена наша дверь. — Ради Бога, поправьте поскорей. Если это

увидит мой напарник, у него будет повод арестовать вас. Ради Бога, поскорей!

С этими словами он поспешно исчез. Шрёдерша, бранясь, сама заглянула потом в квартиру, чтобы проверить, все ли теперь в порядке. Когда она ушла, тетя Ольга сделал вид, будто речь идет о совершенно пустячном случае.

— Как глупо, что я об этом забыла, — и, обращаясь к моей матери: — Эльза, а ты приготовила карты для ромме?



## МАСТЕРСКАЯ СЛЕПЫХ ОТТО ВЕЙДТА

— Али, я тебя прошу, я очень тебя прошу, скажи мне, Петер вернется или нет?

Голубые глаза Евы Дименштайн были полны слез. Не успели они пожениться, как ее мужа арестовали. Причин ареста ей не сообщили, и никто не знал, куда его отвезли. Полицейские в ответ лишь пожимали плечами. В гестапо ее не пропускали. Али, она же Алиса Лихт, маленькая, кругленькая молодая женщина лет под тридцать, чью красоту подчеркивал прямой пробор в черных волосах, уложенных сзади узлом, гладила Еву и говорила: «Ну конечно, он вернется». Мы смущенно молчали, потому что знали: Али лжет. Уж если кого арестовали, тот больше не выйдет.

Мы стояли перед Бюро по трудоустройству евреев и ждали, когда нас примут. В апреле 1941 года евреям запретили держать прислугу. Поэтому мне пришлось расстаться с Кознами и, подобно другим евреям, согласиться на принудительную работу на фабрике. Для такого вот трудоустройства и было создано это бюро. Доктор Коэн хотел сосватать мне фабрику получше, хотя нам было строжайше запрещено самим подыскивать работу. Так, например, в Берлине было известно, что «Сименс» и ОЭК\* хорошо обращаются со «своими евреями». Доктор Коэн направил меня к своей знакомой фрау Проковник в еврейской общине. Та не стала задавать лишних вопросов, а просто написала рекомендательное письмо некоему Отто Вейдту, хозяину мастерской слепых по Розенталерштрассе, 39.

---

\* ОЭК — «Объединенная электрокомпания».

Войдя в боковое крыло заднего дома, я поднялась по шаткой лестнице в скудно обставленную контору. Там я увидела Вейдта, стройного, я бы даже сказала тощего, человека. Он держался очень прямо, его большие руки словно шупали воздух перед собой, лицо морщинистое, гладко зачесанные, прямые, бесцветные волосы, которые он то и дело нервически поглаживал. Голубые глаза без выражения. И однако же у меня было такое чувство, будто он смотрит на меня пронзительным взглядом. На самом деле Отто Вейдт был почти слеп. Он различал только контуры предметов и потому имел право носить нарукавную повязку для слепых.

Вейдт пригласил меня сесть, коротко расспросил о моей семье и о политической деятельности моего отца. Слушая, он несколько раз брался за ингалятор. В конце разговора он сказал: «Хорошо, приходите завтра к Бюро по трудоустройству. Там меня будут ждать еще несколько человек. Посмотрим, что можно сделать».

Я уже подошла к дверям, когда он крикнул мне вслед: «И не удивляйтесь, если я буду не слишком приветливо с вами разговаривать». Я засмеялась и сердечно попрощалась с ним.

И вот я стояла с Евой, Али, сестрой фрау Проковник и какими-то незнакомыми мужчинами. Мы терпеливо ждали. Вейдт с желтой повязкой на рукаве коротко и неприветливо поздоровался с нами и велел молчать, пока нас не спросят. После чего исчез в строении, похожем на барак. Примерно через четверть часа дверь барака распахнулась и на улицу поспешно выкатился невысокий мужчина. Его короткие ножки явно не выдерживали такого темпа. Он с яростью подскочил к нам и завопил: «Я вам покажу, как себя вести, сброд еврейский!»

Я сразу поняла, что это и есть директор бюро Эшхауз, человек с дурной славой. Несколько лет назад он обучался у еврея в магазине тканей, хотя и без особого успеха. С тех самых пор он возненавидел евреев и обращался с ними соответственно. Вот, собственно, почему он возглавил Бюро по трудоустройству.

Все произошло очень быстро. Внезапно он остановился перед сестрой фрау Проковник и завопил: «А как вы вообще попали в фирму Вейдта?»

Та спокойно ответила: «Через еврейскую общину». Это было роковое признание, потому что трудоустройство через общину было строго-настрого запрещено.

Эшхауз закричал еще пронзительнее: «Вы что себе думаете, жулье поганое?!» И на нас обрушился целый поток проклятий. Мы даже не понимали, что случилось. Вейдта нигде не было видно. Что-то произошло, кто-то его выдал. Чиновнику, прибежавшему на вопли Эшхауза, было велено подобрать для нас самую тяжелую и плохую работу. Мы подверглись наказанию за то, что посмели искать работу сами.

«Я вас еще выучу...» — бушевал Эшхауз. Нас с Али направили на «ИГ Фарбениндустри», в «АЦЕТУ», цех в Лихтенберге, где делали парашютный шелк. С тяжелым сердцем отправились мы туда. Из-за всей этой истории мы забыли и про Еву Дименштайн, и про ее Петера.

В бюро «ИГ Фарбен» с нами обошлись неприветливо, но разобрались быстро. Покуда какой-то служащий рылся в наших бумагах, мы стояли и молчали. Потом служащий вернул нам бумаги и заодно выдал по звезде, которую следовало пришить к рабочему халату. «И горе вам, если вы об этом забудете...» На государственном уровне такого приказа еще не было, но «ИГ Фарбен» поторопилась ввести этот закон. Мы и впрямь оказались в изоляции. Нам выделили для завтраков отдельное помещение, где, хоть и стоял стол, сидеть было не на чем. Наставница-арийка, высокая, толстая и злобная, показала, что мы должны делать: нам предстояло по десять часов подряд следить, чтобы нить на вращающихся веретенах не запуталась и не оборвалась и чтобы веретена не крутились вхолостую. В помещении стояла ужасная жара, работа была трудная и изнуряющая. В страшном шуме невозможно было разговаривать. А во время перерыва мы обсуждали только одну тему: как отсюда выбраться. Женщины, начавшие работать здесь еще до нас, рассказывали об издевательствах, которым их подвергают. Некоторым удалось добиться увольнения. Уважительной причиной, по их словам, могли быть женские болезни, потому что в таком случае нельзя часами стоять на ногах. Али, весьма кстати, вспомнила про свою язву желудка, и ее довольно скоро отпустили.

Для девушек-евреек, которые явно происходили из рабочей среды, мы оставались чужими, как, впрочем, и они для нас. Мы

не находили общего языка. Стало понятно, как обособленно мы жили, не предполагая, что среди берлинских евреев есть и пролетарии. До сих пор вспоминаю, как я растерялась, когда одна из них, от силы лет восемнадцати, в своей привычной грубой манере спросила у меня: «А парень у тебя уже был?»

Я бы тоже охотно сбежала с фабрики, но не имела ни малейшего понятия о том, как это сделать. Я была молодая, здоровая и никак не могла придумать себе болезнь, которая спасла бы меня, хотя постоянно размышляла об этом. Сегодня я уже не могу припомнить, как у меня возникла спасительная идея. Но однажды утром я надела на работу туфли с такими высокими каблуками, каких в жизни не носила. И простояла десять часов у станка плюс три в трамвае по дороге на работу и с работы — евреям запрещалось сидеть в общественном транспорте. Высокие каблуки превратились для меня в пытку. Спустя три дня я не смогла сгибать правое колено. Мать пришла в отчаяние. Она опасалась, что мне припишут саботаж. Надо было идти к врачу, но я понимала, что врач-еврей побоится выписать мне справку, что я не могу работать стоя. Наши друзья Рики порекомендовали мне обратиться к арийскому врачу на Курфюрстендамм, к некоему доктору Дамму, который произвел на них хорошее впечатление. Хотя они не могли откровенничать с ним, и без того стало ясно, что он не испытывает к Гитлеру особой симпатии. А в то время евреи еще имели право обращаться к врачам-нееврейцам. Когда я пришла к доктору Дамму, он быстро осмотрел меня и сказал: «Разумеется, вы не можете работать стоя. Я дам вам справку». Вдобавок он на несколько дней освободил меня от работы.

Поначалу ровным счетом ничего не произошло. Я получила от «ИГ Фарбен» деньги по больничному, сумму, почти смехотворную, поскольку евреям и без того платили по самой низкой ставке, а дополнительно к другим налогам с них взимали еще еврейский и цыганский. Через несколько недель я должна была доложиться фабричному врачу. Мать умирала от страха. Долгие часы, сидя перед кабинетом врача, я думала только о ней. Наконец — «странным образом» меня вызвали самой последней — я смогла войти в кабинет.

— Снимайте трусики, — скомандовал врач и указал на гинекологическое кресло.

Я вежливо напомнила, что у меня болит колено. Жестом, указывающим на кресло, он дал мне понять, что его это не интересует.

— Вы уже состояли в половых отношениях? — спросил он. Его вопрос, вызвавший у меня крайнее смущение, и отнюдь не безболезненное обследование не имели ни малейшего касательства к моей нетрудоспособности. Причем мое колено врач вообще не стал осматривать. Однако написал рекомендацию освободить меня от работы, поскольку больничная касса «ИГ Фарбен» не желала больше выплачивать мне деньги. Несмотря на испытанное унижение, я была счастлива. Я помчалась домой, где застала мать в полнейшем отчаянии. Ей пришлось много часов дожидаться меня, и она едва не умерла от страха.

Для начала я, разумеется, зашла к Вейдту и Али, которую отпустили с фабрики задолго до меня. Вейдт просто сиял от радости. История была совершенно в его вкусе. Вообще, в натуре Вейдта было что-то от игрока. Он любил рисковать, а когда боролся, то боролся исступленно и упорно, пока не добивался успеха. Он предложил еще раз попытаться устроить меня в его мастерскую. Судя по тому, что у него стала работать Али, случай с Эшхаузом или уже давно забыли, или Вейдт исхитрился в тот же день раздобыть для фрау Эшхауз, а может, для близкой приятельницы господина Эшхауза любимый сорт духов.

Многие из нацистских деятелей были настолько продажны, что с легкостью торговали даже своими принципами. Вейдт начал выполнять заказы для армии, это превратило его мастерскую в «предприятие оборонного значения», потому что и вермахту требовались веники и щетки. И ему выдавали сырье для их производства, например конский волос, искусственное волокно, ну и, само собой, рабочую силу. Иногда он даже выполнял некоторую часть этих заказов. Но, как правило, только когда на него слишком уж наседали соответствующие инстанции вермахта. А так он пускал сырье на другие цели. Веников и щеток в Германии так же не хватало, как не хватало и прочих товаров, поэтому они вполне годились для обмена. В Берлине, пожалуй, не было ни одного сколько-нибудь значительного рынка, где Вейдт не занимался бы обменными операциями — щетки менялись на духи, пуловеры, платья, зонтики или продукты. Разумеется, ему не хватало сырья, чтобы обслужить так

много заинтересованных лиц. Но у Вейдта были и другие источники. Офицеры полиции из участка, расположенного как раз напротив мастерской, поставляли Вейдту срезанные хвосты полицейских лошадей, а солдаты привозили конский волос из оккупированных областей. Вейдт все это скупал по ценам черного рынка. В цеху обработки, где трудились зрячие евреи, сырье готовили к производству. После этого слепые, примерно тридцать мужчин и несколько женщин, превращали подготовленное сырье в желанный товар. Не будь этого, «левого», добытого неофициальным путем сырья, Вейдт не мог бы занять работой своих служащих, где все, кроме трех человек, были евреями. Эти слепые евреи — а некоторые из них были вдобавок и глухонемыми — проживали в приюте в Штеглице, если, конечно, у них не было зрячих жен. Судьбы у них у всех были разные. Некоторые такими и родились, один еще в молодые годы выстрелил себе в голову из-за несчастной любви и от этого ослеп, другие лишились зрения после несчастного случая. Вейдт брал евреев и для конторских работ, хотя это было строжайшим образом запрещено. Али стала у него очень деятельной секретаршей, Вернер Баш — надежным бухгалтером; у властей и у самого Вейдта они официально числились рабочими. Вот и меня предполагалось занять конторской работой.

Вейдт определил день, когда мне надлежало снова предстать перед Эшхаузом, чтобы добиться такого назначения. Он надел повязку для слепых, взял палку, а я забинтовала колени и тоже взяла палку. Всю дорогу я скромно трюхала позади Вейдта. Эшхауз уже ждал нас. Вейдт обернулся ко мне и сказал грубым тоном: «А ты оставайся здесь». Уже открыв дверь в кабинет Эшхауза, он сказал секретарше: «Дайте этой еврейке стул. Она не может стоять». Я сидела на стуле, и сердце у меня колотилось от волнения. Ногу я демонстративно выставила вперед. Вскоре Вейдт снова вышел. Лицо его выражало полное удовлетворение. За ним семенил Эшхауз. Он подобострастно протянул Вейдту руку и, бросив беглый взгляд на мое забинтованное колено, сказал: «Мы чрезвычайно вам признательны, господин Вейдт, за то, что вы берете у нас людей, которых нам некуда пристроить». Вейдт улыбнулся с великодушным видом. Отойдя подальше от Бюро по трудоустройству, мы разразились громким хохотом. Он снял повязку для слепых, а я принялась вер-

теть в руках свою палку. Это, конечно, было своего рода искушением судьбы, ибо он и на самом деле был почти слеп, а у меня долгие годы болело колено. Но в ту минуту это не имело никакого значения.

Придя в контору, Вейдт признался, что сейчас работы для меня нет. Но он уже договорился с одним коллегой, который на время отпусков возьмет меня в подсобницы. Впрочем, это будет недолго. А официально числиться я, разумеется, буду за фирмой Вейдта. Меня, если можно так выразиться, просто отдадут напрокат.

Книпмайеровская мастерская слепых, что на Риттерштрассе, возле Халлешес Тор, тоже делала щетки и веники. Поскольку время было летнее, отпускное, с тамошними служащими я не общалась. Просто секретарша перед отъездом ввела меня в курс моих обязанностей. А обязанности эти практически сводились к ответу на телефонные звонки и обработке почты. Она не имела ни малейшего представления о том, кто я есть на самом деле. Только сам шеф, Книпмайер, был в курсе. Он принял меня вполне приветливо, хотя и сдержанно. Вейдт оказал ему любезность, сдав меня напрокат, ибо сверхнормативного персонала, который можно использовать на вспомогательных работах, в те времена не полагалось.

В первые дни я ужасно скучала. Почту можно было просмотреть за час, звонили очень редко. Я сидела одна-одинешенька, а за конторой находилась просторная, тоже опустевшая на лето мастерская. Сам Книпмайер заглядывал сюда лишь изредка, чтобы проверить, как идут дела. Спустя некоторое время я заметила, что он смотрит на меня все более благосклонным взглядом. А однажды даже пригласил в свой кабинет.

Книпмайер был рослый, крупный мужчина, который по причине своей полноты выглядел за письменным столом более чем внушительно. На стене висел большой портрет фюрера, да и сам Книпмайер иногда появлялся со свастикой на лацкане пиджака. Он предложил мне сесть, затем сказал, что долго наблюдал за мной и пришел к выводу, что я совершенно не похожа на других евреев. Потом он начал расспрашивать про моих родителей, как долго моя семья проживает в Германии и как они сюда попали. На это я спокойно ответила ему, что, насколько мне известно, в Германии живет уже несколько поко-

лений нашей семьи. После некоторого молчания он едва заметно покачал головой. Эта первая попытка нашего общения была прервана телефонным звонком.

На другой день он снова вызвал меня в свой кабинет и пожелал узнать подробности о нашей теперешней жизни. Мой рассказ явно испугал его. Немцы, не желавшие видеть, что происходит вокруг, действительно не имели ни малейшего представления о том, как нам теперь живется. Узнав, что мы получаем лишь урезанный паек, он на другой день явился с корзиной фруктов и сказал, что все это из его сада. К сожалению, он не мог принести больше, иначе жена заметила бы. Он не рискнул рассказать ей обо мне. Еще он, пожалуй, мог бы принести кофе под тем предлогом, что пьет его во время работы.

Беседы наши становились все более сердечными. Я осторожно пыталась повлиять на его политические взгляды. Мы говорили о войне и о Гитлере. Я заклинала его поверить мне, что Гитлер не выиграет эту войну.

Однажды Книпмайер пригласил меня сходить вместе с ним в мастерскую, которая оборудована куда лучше, чем мастерская Вейдта, а потому мне, наверное, будет интересно посмотреть, что там и как. Я не заподозрила ничего дурного. В мастерской он осторожно, но с весьма определенными намерениями приблизился ко мне. Я ужасно испугалась, начала сопротивляться, но дать решительный отпор не посмела. А вдобавок у меня не было ни малейшего опыта в подобных делах. Он это понял и не прибег к насилию. С некоторой даже робостью он признался мне, что первый раз близко общается с еврейкой. Что я хорошая, умная, симпатичная и соблазнительная. Короче, совершенно не такая, какими он представлял себе евреек. В конце концов он перестал ко мне приставать. Но когда в тот день он на прощанье поцеловал меня в лоб, я пришла в полное отчаяние. Как я смогу выдержать два месяца? Я не рискнула заговорить на эту тему ни с матерью, ни с Вейдтом, который уже и так много для меня сделал. Я не хотела быть ему в тягость. На другой день с тяжелыми мыслями я поплелась в контору. Там Книпмайер снова начал меня обхаживать. В общем-то мне удавалось не подпускать его к себе, но я чувствовала, что мое сопротивление его только раззадоривает.



Как-то раз в нашей конторе появился его сын, высокий, стройный молодой человек девятнадцати лет. Он, разумеется, не имел ни малейшего представления о том, кто я такая. Его отец поручил нам сделать какую-то работу. Он был простой, откровенный юноша, и мы с ним очень хорошо поладили. Тем более что были ровесники. На другое утро он пришел снова. Я этому очень обрадовалась, потому что могла не оставаться больше наедине с его отцом. Но отец и сам скоро заметил, что у него появился соперник. С улыбкой превосходства он обронил: «А у моего сына и впрямь хороший вкус», после чего впервые уже нагло полез ко мне. Я еще раз сумела увернуться, но на другой день позвонила Вейдту. Тот совершенно вышел из себя: почему я сразу не поставила его в известность? «Надо положить этому конец. И немедленно. Я найду какой-нибудь предлог и скажу, что ты позарез нужна мне здесь». Так все и вышло. Мне только один-единственный раз пришлось снова зайти туда, чтобы попрощаться. Вейдт поручил мне заниматься экспедицией и отвечать на телефонные звонки — ни для того, ни для другого не требовалось полной рабочей единицы. Я старалась изо всех сил, чтобы доказать свою признательность и оправдать свое жалованье, а это было совсем нелегко. Али успела за это время расположить к себе не только контору Вейдта, дела которой вела безупречно, но и его самого. Вейдту к тому времени было около шестидесяти лет, и происходил он из бедной семьи. Еще ни разу он не знал такого материального благополучия, как в те военные годы, когда благодаря «левому» товару с превеликим искусством зарабатывал много денег. Али была для него надежным советчиком. Жена Вейдта, Эльза, на свой лад использовала неожиданно свалившееся на них богатство. Она вечно путешествовала, жила в роскошных отелях, которые раньше были ей недоступны, он же охотно давал ей деньги.

У меня Вейдт вызывал глубокое восхищение. В каком-то смысле он заменял мне отца. Мне импонировал его бойцовский характер, потому что я, живя в родительском доме, привыкла к этому. Али же воспринимала мое поведение довольно кисло. Но слегка напряженная атмосфера моментально изменилась, когда в мою жизнь вошел Ганс Розенталь.

Ганс Розенталь раньше служил инженером в фирме «Осрам», а теперь руководил снабжением в еврейской общине и,

кроме того, делал для нее закупки. Он покупал и получал щетки и веники, которые Вейдт не дал бы никому другому. Впрочем, Вейдт был всего лишь одним из множества оптовиков Берлина, сдававших еврею Розенталю свой товар. Его признавали даже в гестапо, куда он порой тоже поставлял свои изделия, потому что сами гестаповцы едва ли смогли бы что-нибудь получить. «Нет у нас!» — и точка. И попробуй доказать, что это не так. Гансу, жившему вместе с матерью, было к тому времени под сорок, но он все еще ходил в холостяках. Вскоре он начал чаще, чем нужно, наведываться в мастерскую Вейдта. Мне он очень нравился, и я даже не пыталась этого скрыть, хотя, может быть, отчасти и потому, что хотела поскорей избавиться от Вернера Баша, который не давал мне покоя.

Вернер, наш бухгалтер, был привлекательный молодой человек лет тридцати с небольшим, однако уже поседевший. Со своим ровным пробором и неизменной улыбкой он выглядел как услужливый продавец и наверняка был первым бухгалтером, которого вообще увидела фирма Вейдта. Он потратил много времени, чтобы с величайшей тщательностью привести в порядок совершенно запущенную за долгие годы бухгалтерию фирмы. Вейдт, которого при всем желании нельзя было назвать человеком порядка, относясь ко всему с прохладцей, не слишком ценил труды Баша, но и не мешал ему. Баш мог писать свои цифры и при этом часами слушать оперную музыку. Порой он в восторге возводил глаза к небу и восклицал: «О Верди, Верди!» Вейдт нанял его по просьбе еврейской общины. У Вернера была жена Ильза, в высшей степени интеллигентная, но не слишком привлекательная женщина, которая играла в общине весьма важную роль. Брак их был не особенно удачным, и Баш начал ухаживать за мной. Не скрою, поначалу я ничего не имела против небольшого флирта. Правда, ни время, ни обстановка не благоприятствовали такому невинному развлечению. Когда однажды, после обеденного перерыва, мы остались одни в конторе и он повел себя недвусмысленно, я с негодованием его оттолкнула. Эти поползновения женатого мужчины показались мне, балованной дочке из буржуазной семьи, чем-то совершенно неслыханным. Уж тут благосклонность Ганса Розенталя была мне куда приятнее. Он был скромный, приветлив, неглуп, хорошо воспитан и вообще очень

мягкосердечный человек. Несколько раз мы вместе ходили на прогулки, других возможностей для встреч к тому времени не осталось. Но чем меньше было у нас возможностей, тем судорожнее я за него цеплялась. Кроме матери, у меня никого не было, и я радовалась доверительным отношениям с кем-нибудь еще. И если в ту пору заключались браки между евреями, подобное соображение служило важным доводом для союза.

Присутствие влюбленной молодой девушки в конторе наверняка доставляло Вейдту радость, и он всячески старался сделать так, чтобы мы поближе узнали друг друга. Вейдт наперечет знал препятствия, которые этому мешали. Он устраивал у себя в конторе веселые вечеринки, он покупал мясо на черном рынке и поручал жене нашего вахтера, которая проживала этажом выше и была к нам очень расположена, готовить отменные трапезы. Я вспоминаю душевные вечера, которые мы проводили вчетвером или вшестером, если в них принимали участие Вернер Баш и его жена Ильза. Эти встречи в конторе за импровизированным угощением остались в моей памяти редкими приятными воспоминаниями из той поры. Ибо судьба Евы Дименштайн не шла у нас из головы. Над нами вечно висел дамоклов меч. Порой Ева показывалась в конторе у Вейдта, чтобы выслушать слова утешения. Но и здесь мы не могли забыть, что творилось вокруг нас. «Сгиньте!» — порой командовала нам Али и, поспешно надев халат с еврейской звездой, бежала в цех обработки сырья. А мы с Башем выскакивали из конторы и спешили вверх по лестнице. Густав Кремер, нееврей и партнер Вейдта, усаживался за стол Баша, а место Али занимала ученица Эрика, тоже арийка. Эрика была слишком глупа, чтобы понять, что творится в мастерской. Подобные операции происходили много раз. Стоя на лестничной площадке, мы слышали голос Вейдта, который любезно приветствовал господина Прюффера, обер-секретаря и заместителя главы еврейского отдела при берлинском гестапо. Вейдт не раз приглашал его зайти и посмотреть, как он, Вейдт, руководит предприятием, где работают евреи. Прюффер принимал эти приглашения и порой приходил даже без предупреждения. Вейдт водил его по мастерской, показывал умывальные комнаты, предназначенные якобы для «грязных евреев», при случае даже рывкал на кого-нибудь из них: «По-твоему, это называется веник?» — после че-

го, всякий раз с новыми подробностями, рассказывал, как ему удастся поддерживать дисциплину среди евреев, которые, если не давать им поблажки, могут очень даже неплохо работать.

«Как прикажете мне выполнять заказы оборонного значения, не будь у меня этих евреев?» — вздыхал он под конец. Прюфер держался вполне благосклонно. В мастерской никто не смел даже рта раскрыть. Лишь когда гестаповский чиновник уходил, Вейдт снова появлялся в мастерской и извинялся за свое грубое поведение. Впрочем, слепые и без того понимали, почему он так поступает, и пытались смехом заглушить волнение. Вейдт оделял людей сигаретами в награду за минуты страха. Нас он потчевал вином, и все подливал, все подливал. Но никто из нас не пьянел. Уж слишком велико было нервное напряжение.

## ПРЕДДВЕРИЕ АДА

В метро маленький, коренастый мужчина поднялся со своего места.

«Я прошу вас сейчас же сесть», — сказал он очень громко, указывая на место, которое предлагал мне занять. Большинство пассажиров сделали вид, будто ничего не слышат. Вагон был набит битком, как обычно перед началом рабочего дня, и стояла не я одна. Уверена, что этот человек не уступил бы мне место, не надень я впервые в то утро «еврейскую звезду».

Было 19 сентября 1941 года, первый день, начиная с которого нас обязали носить звезду постоянно. Накануне вечером я, согласно предписанию, пришила эту тряпку к левой стороне пальто как раз на уровне сердца. Еврейские благотворительные организации должны были предоставить каждому еврею за определенную плату по четыре таких звезды.

Мы с Али уговорились каждое утро вместе ездить на работу, она — в контору Вейдта, я — тогда еще к Книпмайеру. Мы опасались, что власти запланировали «стихийную» реакцию на эти звезды. Но жителей Берлина мы не боялись. Кроме того, у меня была еще и собственная проблема. Много месяцев подряд я садилась по утрам в один и тот же поезд, в один и тот же вагон. То же самое делал некий молодой человек. Я не имела ни малейшего представления о том, кто он такой. До сих пор мы не обменялись друг с другом ни единым словом. Тем не менее между нами возникла тайная симпатия. Я могла лишь догадываться, что он не еврей. Признаюсь честно, я боялась его реакции, когда он углядит на мне желтую звезду. Но после моего первого появления с этой звездой я его ни разу больше не видела. Может, это была случайность, а может, и страх. Ведь не

каждый был таким храбрым, как господин, который непременно хотел, чтобы я села на его место. Лишь когда мне удалось шепотом сказать ему, что мне садиться запрещено и что меня, а не его могут наказать, он отказался от своего намерения.

Когда я вышла на станции Мёккернбрюкке, этот господин последовал за мной. Он попросил разрешения проводить меня. Уж это наверняка не запрещено. Не могу сказать, по какой причине мне было так неприятно. Сделав несколько шагов, я решительно попросила его не идти за мной, и он повиновался. К тому времени я работала в фирме Книпмайера и никоим образом не должна была появляться там с желтой звездой. Поэтому я сделала то, что впоследствии делала сотни раз. В пустом подъезде я сняла пальто со звездой и надела жакет без звезды, который носила в сумке. Затея была рискованная, потому что, попадись я на глаза какому-нибудь гестаповскому шпику, со мной произошло бы то же самое, что и с теми несчастными евреями, которых гестаповцы останавливали на улице, чтобы при помощи карандаша проверить, крепко ли пришита звезда. На основании достаточно произвольного вывода человека могли отправить в концлагерь. Пальто на жакет я меняла много раз. И не только потому, что отныне евреи могли пользоваться общественным транспортом лишь для поездки на работу. Вот и бакалейщик Рихард Юнгханс теперь не мог отпускать нам товары, появившись я у него в лавке со звездой. И фрау Гумц не имела больше права принимать наше белье в стирку, а главное, я не могла бы забирать у нее мясо, которое она покупала для нас каждую неделю на базаре. Ну и конечно, я продолжала ходить на концерты, в театр и в кино, чего не могла бы делать, если бы носила звезду.

Уловка с переменной одежды отнюдь не была простой и легкой. Сперва надо было отыскать место, где можно снять одежду со звездой и надеть что-то другое. Разумеется, выйти в пальто без звезды из дома, где тебя хорошо знают, я не могла. Как не могла и вернуться без звезды в этот дом. Всего неприятнее было встречать на улице знакомых евреев, которые здоровались, а то и подходили поближе, потому что не сразу замечали отсутствие звезды. Несколько раз я вела себя невежливо, делала вид, будто не замечаю знакомых, и как можно скорей проходила мимо, даже не ответив на приветствие.

«Ради Бога, не переусердствуй, — умоляла меня мать, — ходи без звезды только в случае крайней необходимости».

Я, конечно, пообещала выполнить ее просьбу, но насколько же приятнее было ходить без звезды!

У меня, как и у других евреев, иногда бывали радостные минуты. Я припоминаю, как совершенно незнакомые люди в метро или в уличной толчее подходили ко мне и совали что-нибудь в карман, глядя при этом в другую сторону. Порой это было яблоко, порой талоны на мясо, то есть продукты, которых евреи официально не получали. И все же звезда сама по себе означала изоляцию. У меня было такое чувство, будто я хожу с маской на лице. Встречались люди, которые глядели на меня с ненавистью, встречались и такие, чьи взгляды излучали симпатию, а кое-кто поспешно отводил глаза.

Я вспоминаю, каким тягостным мне показалось однажды такое вот разглядывание. Было это на станции метро. Мы ждали поезда. Какая-то женщина снова и снова проходила мимо меня. Под конец я не вытерпела, подошла к ней и спросила: «Вы, наверно, никогда еще не видели живой еврейки?» Она залилась краской. «Можете смотреть сколько угодно. Я не возражаю». Женщина молча отвернулась.

В другой раз мы с матерью вышли за покупками. Была зима. Выпал снег. Вдруг кто-то схватил меня за рукав, сунул мне и матери веник и приказал: «А ну, подметите улицу!» По дороге мы так увлеклись разговором, что не заметили других евреев, которых тоже задержали для уборки снега. Я постаралась придать своему лицу бодрое выражение, а мать предложила спеть что-нибудь, чтобы работа спорилась быстрее. Вдобавок мы подавали знаки всем показавшимся в начале улицы евреям, чтоб они шли другой дорогой. Через какое-то время у нациста лопнуло терпение, он вырвал у нас веник и рявкнул: «А ну, убирайтесь отсюда!»

Хуже всего приходилось еврейским детям: их обязали носить звезду с пяти лет. Поскольку дети вообще бывают очень жестокими и, подобно взрослым, видели травлю евреев, они били еврейских детей всюду, где встречали, разве что у их родителей хватало смелости внушить им иные понятия. Я не раз и не два лупила нееврейских ребят, чтобы дать возможность убежать еврейским детям, — занятие, которое было и для меня

чревато изрядной опасностью. Не меньшей, чем хождение без звезды.

Ежедневно с четырех до пяти некоторые районы Берлина кишели еврейками, выходящими за покупками. Это был единственный час, отведенный им для этой цели. Но поди успей купить что-нибудь путное за час, тем более в районах, где живет много евреев. Женщины бегали от одной лавки к другой, и этот наплыв покупателей мешал продавцам подсунуть своим старым клиентам лишний кусок. Впрочем, порой они все-таки находили способ помочь. Человек привыкает ко всему. Вот и мы сумели устроиться, ведь какой-то выход можно найти всегда. Но всем было ясно, что положение евреев в Берлине с каждым днем становится хуже. Слухи об уготованных нам ужасах то и дело получали очередное подтверждение и становились все более тревожными. Я попросила мать избавить меня от подобной информации «еврейского радио», которую она приносила из своего благотворительного учреждения. Я просто не желала об этом слышать.

— А может, это все чистая правда? — предположила мать.

— А какой мне прок, если я загодя узнаю и начну бояться?

Но настал день, когда подобный слух оказался страшной реальностью.

16 октября 1941 года господин Хефтер, служащий еврейской общины, должность которого я не запомнила, ворвался в мастерскую Вейдта. Вид у него был как у помешанного, казалось, он даже не понимает, что ему говорят. Он потребовал, чтобы его немедленно связали с господином Вейдтом. Они уже много лет были знакомы, и я знала, что господин Вейдт частенько дарит господину Хефтеру что-нибудь из своей продукции: щеточку для ногтей или метелку для стола, чтобы тот мог обменять их на другие, нужные ему вещи. Хефтер скрылся в кабинете Вейдта. Через несколько минут Вейдт вызвал Али. Почти сразу же она вышла из его кабинета, белая как мел. Очень медленно она подошла к своему столу, обхватила ладонями настольную лампу, словно желая согреться, и застыла, точно изваяние.

— Али, в чем дело, Али, ради Бога, скажи хоть слово! — приставала я к ней. Я догадывалась, что произошло нечто ужасное.

Медленно-медленно, словно приходя в себя, она сказала:



— Сегодня ночью прямо из дома заберут несколько сот евреев и отправят на восток, в лагерь.

Я ей не поверила.

— Думаешь, это правда? Да это просто очередной слух, — с раздражением сказала я.

— Нет, нет! Уж Хефтер-то знает. Служащим еврейской общины поручили сформировать первый транспорт.

Тут в комнату вошли Вейдт и Хефтер.

— Нам запретили об этом рассказывать. Но я просто не мог больше молчать, — произнес Хефтер в полном отчаянии. Глаза у него были мутные от усталости и непролитых слез. — Бога ради, никому об этом не говорите.

Вернер Баш, чья жена тоже была служащей общины, продолжал сомневаться. Но Хефтер сказал, что лишь очень немногим доверили готовить эту акцию и взяли с них подписку о неразглашении.

Я непременно хотела узнать подробности. Почему? Когда? Кто? Как? Из бессвязных ответов Хефтера, который нервно бегал по комнате взад и вперед, следовало, что депортации подвергнутся все те, кто недавно получил от общины опросные листы, что-то вроде анкет, в которых следовало указать всё принадлежавшее им имущество, к примеру число простынь или ковров. Заполненные листы полагалось вернуть назад.

«Господи, фрау Хоэнштайн!» — пронзила меня мысль. А мы еще, помнится, удивлялись, почему фрау Хоэнштайн получила такой лист, а из нас четверых — никто. Фрау Хоэнштайн была вдова шестидесяти пяти лет. Она занимала переднюю комнату в квартире тети Ольги. Когда она показала нам опросный лист, мы безо всякого интереса сказали:

— Наверно, и мы скоро такой получим.

Случилось это недели три тому назад. А больше мы о том и не вспоминали.

Ни один из нас, ни Вейдт, ни Али, ни Баш, ни я, не мог в то утро приняться за работу. Мы снова и снова обменивались мыслями, пришедшими нам в голову. То, что мы услышали от Хефтера, казалось совершенно непонятным. О трудовом лагере речи быть не могло. Разве можно такую, не очень здоровую женщину, как фрау Хоэнштайн, отправлять в трудовой лагерь? Может, произошла какая-то ошибка и все скоро выяснится? А

может, вся эта немыслимая информация тоже не соответствует действительности?

— Ради Бога, не выходи сегодня вечером после восьми из дому, — призывал меня Вейдт, знавший мою непоседливость. — И надень пальто со звездой, когда пробьет восемь.

В соответствии с предписанием, евреи должны были носить звезду даже у себя дома.

Я помчалась домой и рассказала матери все, что узнала. Она мне не поверила — да и как можно было в это поверить? Однако мы проспорили несколько часов: надо известить фрау Хознштайн или нет. Как будет лучше? Стоит ли ее пугать загодя? Тем более что все это может оказаться неправдой. Просто один из множества слухов. А даже если правда... Что она может сделать? Да ничего. Этот спор мы продолжили несколько лет спустя. А вдруг она могла бы убежать? Тогда мы в ответе за то, что она угодила в лапы гестапо. Хотя нет, дама ее возраста, медлительная, не очень здоровая, словом, дама преклонных лет, которая жила только ради своих детей и внуков, все равно не могла бы ничего предпринять.

Вскоре после восьми в нашу дверь и впрямь позвонили, резко и требовательно, как мне показалось. Мать осталась сидеть, словно прикованная к стулу. «Боже мой!» — почти беззвучно прошептала она. И поскольку было совершенно ясно, кто к нам рвется, я надела пальто со звездой и открыла дверь. За дверью стояли двое рослых мужчин в серых пальто из грубой шерсти. Они спросили:

— Здесь проживает Клара Сара Хознштайн?

Я указала на дверь в ее комнату и вернулась к матери.

— Надо сказать тете Ольге! — сказала она.

— Быть того не может! Просто в голове не укладывается! — в ужасе воскликнула пожилая дама, когда мы быстро рассказали ей, в чем дело, и дрожа подсела к нам. Так мы и сидели втроем, осмеливались говорить только шепотом и в ужасе прислушивались к каждому звуку. Дверь нашей комнаты была неплотно прикрыта. Не могу теперь припомнить, сколько мы так просидели. Мы почти ничего не слышали, разве что шаги в комнате фрау Хознштайн. Потом донесся ее голос. Она звала тетю Ольгу, которая, все так же дрожа от волнения, встала и не-

решительно направилась к двери. Остановившись в дверном проеме, она воскликнула:

— Зачем вы меня звали?

Очень спокойно фрау Хоэнштайн сказала, что сейчас ее уведут, а больше ей ничего не известно. При первой же возможности она даст о себе знать. Вероятно, затем, чтобы прекратить всякие разговоры, один из мужчин поспешно добавил, что опечатывает комнату, что срывание печати карается по закону, а того пуще карается изъятие вещей из опечатанной комнаты. Затем они повели фрау Хоэнштайн к выходу. Мы слышали, как дверь с грохотом захлопнулась, а еще — тяжелую поступь сапог и тихие семенящие шажки фрау Хоэнштайн. И больше ничего. Воцарилась мертвая тишина.

Мы с матерью вышли из своей темной комнаты в прихожую. Там, будто пригвожденная к месту, стояла тетя Ольга. Полные руки бессильно опущены. На лице застыло выражение ужаса, рот полуоткрыт, словно для крика, который так и не прозвучал, глаза неподвижно смотрят на мою мать.

— Элла! — наконец воскликнула тетя Ольга и бросилась в объятия к матери. — Что здесь происходит?

Мать еще раз коротко рассказала ей то, что мы узнали утром. Поначалу тетя Ольга ничего не поняла — или просто не захотела понять.

Я не могла больше выносить эту сцену.

— Мы должны что-то сделать, должны известить остальных, должны хоть что-то сделать! — кричала я без умолку. Тут в дверь дважды позвонили. Это оказалась фрау Шрёдер, вахтерша, которая видела, как уводят фрау Хоэнштайн. Рослая, угловатая женщина в своем неизменном фартуке ворвалась в переднюю:

— Чего им надо от фрау Хоэнштайн? Что здесь творится?

Мы объяснили ей, что произошло. Она ухватилась за столик и опустила голову, плечи у нее вздрагивали. Потом вдруг закричала:

— Преступники! Убийцы!

Нам никак не удавалось ее уговорить.

Я сказала, что мы просто обязаны известить детей фрау Хоэнштайн. Все меня поддержали. Но как? Телефонов у евреев не

было. Может, фрау Шрёдер возьмет это на себя? Но она с ужасом отказалась:

— Нет и нет, я не могу прийти к ним и прямо в лоб сказать, что их мать увели. Это слишком ужасно!

Фрау Шрёдер не говорила, а кричала. Однако в конце концов согласилась сопровождать меня. Впрочем, в этот вечер мне навряд ли было опасно выходить на улицу после восьми часов. Гестапо занималось другими делами.

Сегодня я уже не могу вспомнить, что мы там сказали и как. Дочь и зять фрау Хоэнштайн выслушали нас, не проронив ни звука. Вскоре мы ушли под тем предлогом, что мне нельзя в это время показываться на улице. Выйдя от них, мы побежали, сами того не замечая. Луны в тот вечер не было. Царила темнота.

На другое утро разнеслась весть, что все задержанные ждут отправки в синагоге на Левецовштрассе. И что им можно приносить разные вещи. Но следом появились самые ужасные слухи: у них все отбирают, их бьют и не дают есть. К нам пришел зять фрау Хоэнштайн. Он знал, что не имеет права входить в комнату тещи. Но видно, что-то заставило его еще раз постоять перед закрытой дверью комнаты, где прошли последние часы ее прежней жизни. И он стоял перед этой дверью, маленький и безмолвный. То и дело сжимая губы, он рассказал нам, что ходил на Левецовштрассе, пытался передать теще хоть немного еды на дорогу. Ему этого не разрешили, как и всем, кто знал, что их родственники содержатся в синагоге. «О них заботятся, — сказал один из служащих еврейской общины, — не надо беспокоиться, для них делают все, что можно». Вот что ему там сказали.

17 октября под покровом темноты мы с матерью тоже пошли на Левецовштрассе. Не смея подойти поближе, мы встали на противоположной стороне улицы. Стояли и глядели на синагогу. Конечно же, мы ничего не увидели, если не считать освещенных окон, что само по себе было непривычно для буднего дня и без торжественного повода. О том, что происходило в синагоге за последние сутки, мы могли лишь догадываться. По слухам, туда загнали больше тысячи человек, ожидавших отправки. Большинству из них уже перевалило за 65, и они были нетрудоспособны. Мы поймали себя на мысли, что, узнав это, облегченно вздохнули, поскольку обе работали. И тут же

нам стало очень стыдно. Не только стены синагоги и охрана отделяли нас от людей внутри. Нет, их уже отделили от нас каким-то нечеловеческим способом.

18 октября 1941 года был отправлен первый транспорт на Лодзь. Спустя несколько недель мы получили открытку с печатным текстом: «У меня все в порядке. Я нахожусь в Лодзи. Шлите мне посылки». Рядом с текстом стоял номер, должно быть уже вытатуированный у нее на руке.

Конечно, мы долгое время отправляли посылки. В посылках был хлеб, сушеные овощи, словом, те продукты, которые мы отрывали от себя. Но ответа мы не получили ни разу.

## «АНКЕТЫ»

С мертвенно-бледным, искаженным от страха лицом слепой Леви, дрожа всем телом, стоял перед своим шефом.

— Мне прислали анкеты, господин Вейдт.

Обеими руками он держал формуляр, который для любого еврея был предвестником депортации. После первой депортации в Берлине не осталось ни одного еврея, не понимавшего истинный смысл безобидных с виду «анкет», в которых надлежало ответить на вопросы об имуществе. Отто Вейдт, руки которого дрожали, как и руки Леви, вырвал у него листок.

— А ну, дай сюда! — грубо сказал он.

Леви его не понял. Маленький человечек отпрянул к стене. Вейдт тем временем надел пальто, велел Али принести ему на рукавную повязку для слепых и, громко стуча палкой, вышел из конторы. Он не сказал ни слова, и никто не знал, что он затеял. Мы остались в конторе. Густав Креммерт и ученица Эрика не знали, что и говорить. Креммерт похлопал по плечу Леви, который, словно защищаясь, прикрыл руками незрячие глаза, и сказал как-то неуклюже, с волнением в голосе:

— Ничего, как-нибудь уладится.

Вошел Хампель, посредник, и громко, как всегда, пожелал всем «роскошного доброго утра». Креммерт вытолкал его из конторы, чтобы за дверью рассказать ему о случившемся. А Леви вернулся в мастерскую, где у станков сидело тридцать слепых. Никто не проронил ни слова. Обычно они пели или рассказывали друг другу анекдоты, покуда их пальцы автоматически продергивали волос через отверстия в черенке метлы. Причем делали они это быстрее любого зрячего. Позади мастерской располагался цех обработки, где под руководством

специалиста, которого звали Хорн, зрячие готовили сырье. Хорн был родом из Польши. В его немецком проскальзывали отголоски идиша. Ростом он был невелик, и потому его голова с высоким лбом и кудрявыми, белокуро-седыми волосами казалась непомерно большой. На массивном носу сидели очки с толстыми стеклами. Черты лица свидетельствовали о чуть слезливой доброте. Казалось, Хорн пребывает в постоянном страхе, а улыбка его выражалась лишь в том, что он кривил свой большой рот. Его сын, юноша лет семнадцати, осваивал в мастерской ремесло отца вместе с другими четырьмя-пятью подсобниками. Настоящие специалисты, такие, как Хорн, встречались редко. Он был нужен Вейдту и со своей стороны обожал его. Весть о том, что Вейдт, прихватив «анкеты» Леви, возможно, как намекала Али, напрямик отправился в гестапо, пробежала по мастерской, словно лесной пожар. Уж и не помню, когда Вейдт вернулся из своего похода, но, едва он переступил порог конторы, в лице у него что-то дрогнуло. Не снимая пальто, он напрямик направился в цех.

— Дело сделано, — сказал он Леви, боязливо поджидавшему его возвращения.

— Сделано? — пробормотал Леви, ничего не понимая.

— Сделано, — повторил Вейдт. — Как прикажете мне выполнять военные заказы, если у меня будут отнимать рабочих?

Люди начали смеяться, сперва тихо, себе под нос, потом громче. Они поняли. Леви хотел поцеловать ему руку. Вейдт с неудовольствием отмахнулся и направился к себе. В контору он вошел победителем, с плутовским блеском в глазах, но почти сразу же предупредил:

— На сей раз удалось, а вот что будет в следующий?..

Механизм депортаций заработал на полную мощность. Депортации стали ужасными и заурядными буднями. Нормы устанавливало гестапо. Руководство еврейской общины получало указание, что в день Икс из Берлина должен отправиться очередной транспорт, для чего надлежит приготовить тысячу человек. Затем, как рассказывал доктор Конрад Коэн, поступала директива. Согласно этой директиве, община составляла списки. Для первого транспорта отобрали людей старше шестидесяти пяти лет. Затем гестапо потребовало нетрудоспособных, живущих на пособие, и одиноких матерей с детьми. За-

просы все время менялись. Вот Леви получил «анкеты», потому что был зарегистрирован как слепой и к тому же старше шестидесяти лет.

Когда объявили депортацию трудоспособных, которые работали на предприятиях, не имеющих оборонного значения, дошла очередь и до меня. Я тоже получила «анкеты». Моя мать пришла в ужас.

«Я пойду добровольно, — сказала она, — одну я тебя не пущу». Так она сражалась со мной изо дня в день. Мать работала на фабрике, которая выпускала батарейки для раций, а потому считалась предприятием оборонного значения. Разумеется, я боялась того, чем может завершиться депортация. Тогда мы ничего не знали и могли лишь догадываться, что это ужаснее всего, что уже произошло с нами раньше. Но кроме страха я испытывала и любопытство. Какая судьба ожидала тех, кто уже был депортирован? Что предстояло испытать мне на этом пути?

Я отправилась к доктору Коэну, своему прежнему хозяину, у которого иногда подрабатывала после обеда.

— А ну, дай мне это! — скомандовал доктор Коэн.

Больше я этих «анкет» не видела. Не иначе, еврейской общине пришлось заменить мое имя каким-нибудь другим. Моя мать была совершенно вымотана волнениями этих дней. Меня же терзала мысль, что теперь другому человеку выпала моя судьба. Впрочем, я скоро об этом забыла. Потом настал черед тех, кто работал на предприятиях оборонного значения, если они занимали не слишком важные должности, например курьеров или подсобных рабочих без специальной подготовки. Крупные фирмы, такие, как «Объединенная электрокомпания» и «Сименс», подали в гестапо протест по поводу лишения их рабочей силы. Они — и, без сомнения, убедительнее, чем это сделал Отто Вейдт, — заявили, что, если у них заберут старательных еврейских работников, для которых в ту пору невозможно было найти замену, нарушится весь производственный процесс. Но поезда с депортируемыми евреями продолжали отправляться. Разлучали семьи, стариков отрывали от детей.

Первые транспорты, отвозившие пожилых людей в Терезиенштадт, начали курсировать с июня 1942 года. Восьмидесятипятилетний дядя Пауль Литтен, некогда один из самых уважа-



емых жителей померанского города Кёслина, тоже уехал в таком поезде. Он был состоятельным человеком, и всю жизнь о нем заботились пятеро любящих детей. Под старость его содержали две дочери. Трое детей покинули Германию, пообещав вызвать его к себе, но из этого ничего не получилось: он уже почти не мог самостоятельно передвигаться.

— Не тревожьтесь обо мне, дети, — утешал он их, когда за ним пришли гестаповцы. Он прекрасно понимал, что отправляется в свое последнее путешествие. Его незамужней сестре, тете Густль, моя мать успела принести теплый жакет до того, как и ее забрали. Они жили тогда на Альтонаерштрассе, в доме для престарелых. Придя к ним, мы застали обоих стариков за укладкой вещей. Ну конечно, конечно, они будут себя беречь, ну конечно, они будут нам писать, ну конечно, они будут одеваться потеплее. Они повторяли это снова и снова, когда родственники, пришедшие, чтобы помочь им собраться, начали давать им разные советы. Но никто не верил словам. Все прекрасно понимали, что больше им не свидеться.

— Я позабочусь о Пауле, — сказала моя тетка, образчик старой девы, объект постоянных шуток, добродушная и совершенно беспомощная. Она всю жизнь прожила на содержании у своего состоятельного брата, теперь же была одной из тех немногих, кто собирался сделать что-то полезное и в Терезиенштадте.

— Терезиенштадт, наверно, не так уж и велик, чтоб я не смогла его там разыскать.

С помощью моей матери она уложила свой жалкий скарб в большую сумку. Потом, смущенно улыбаясь, сунула туда же жестяную миску.

— Похожа на собачью, верно? — спросила она.

Такие миски выдавали старикам.

Покуда в доме царила бурная деятельность, словно перед большим переездом, и ликвидация хозяйства шла вовсю, те из родных, кто уже попрощался, стояли перед домом, плакали, всхлипывали и в полном отчаянии обнимали друг друга. Потом они медленно и боязливо покидали это место, откуда их любимые родственники начинали свой путь к смерти.

А дом заполнили новыми жертвами, «временно», ибо туда переселяли только затем, чтобы дожидаться очередного транс-

порта. Среди переселенцев оказалась и тетя Ольга. В день, назначенный гестапо, к ней явились еврейские уполномоченные.

— Ольга Сара Розенберг, вы получили анкеты. Надеемся, вы уже готовы к отправлению? Тогда следуйте за нами.

«Груз» для самого первого транспорта отправляло гестапо — то ли чтобы население не узнало об этом, то ли чтобы посмотреть на реакцию.

Но евреи и так не сопротивлялись. Более того, они совершенно точно выполняли все указания. К списку еврейская община прилагала письмо, в котором жертвам сообщали следующую информацию:

«Ваше отправление официально назначено на ...число ...месяца... вы можете сдать свой багаж с 9 до 13 часов на сборный пункт по адресу: Песталоцциштрассе, 7—8. В понедельник ...числа в шесть часов утра ваша квартира будет опечатана нашим служащим. К этому моменту вы должны быть окончательно готовы. Упомянутому служащему вы должны также передать ключи от квартиры и комнат...»

К этому письму прилагалась инструкция, которая содержала все сколько-нибудь важные указания.

«Убедительно просим вас самым точным образом выполнять все предписания и подготовиться к отъезду спокойно и продуманно. Члены семьи, назначенные к выезду, должны понимать, что своим личным поведением и беспрекословным выполнением всех указаний они будут содействовать безукоризненному осуществлению транспортировки. Само собой разумеется, что мы, пока и поскольку это будет в пределах наших возможностей, сделаем все от нас зависящее, чтобы содействовать членам нашей общины и оказывать им всяческую помощь».

Уполномоченные, назначенные общиной, были по большей части молодые люди. Выполняя свои обязанности, они порой казались жестокими. «А ну, живей, вы что, до сих пор еще не готовы?» — подгоняли они несчастных. Хотя, возможно, отсрочка того, что неумолимо должно свершиться, была бы еще более жестокой. Они набросились на нашу старую хозяйку с Бамбергерштрассе, 22, когда та с ужасным криком пыталась всеми силами сопротивляться депортации. Ее вынесли вместе со стулом, на котором она сидела как приклеенная, вниз по ле-

стнице, к уже поджидавшему грузовику. Этим людям надлежало выполнить норму. Они не произносили ни одного приветливого слова, разве что: «Думаете, это нам самим приятно?» Среди них были безработные учителя, адвокаты, бывшие служащие еврейских организаций.

Нам с матерью пришлось переехать на Бамбергерштрассе, 22. По этому адресу находился один из так называемых еврейских домов. Там, в пяти с половиной комнатах, проживало, согласно инструкции, одиннадцать человек: каждое помещение на двоих. В квартире была только одна ванная и одна кухня. По утрам здесь разыгрывались ужасные сцены, потому что каждый хотел вовремя добраться до работы. Опоздание могло стать поводом для депортации. Казалось, безукоризненное выполнение долга сулит относительную безопасность. Того, кто осмеливался задержаться в туалете, изгоняли бешеным стуком в дверь и истерическими воплями. А установить хоть какое-то подобие порядка было невозможно, потому что люди работали в разные смены. Противоборствующие стороны стали непримиримыми врагами. Когда, усталые и измученные, они возвращались после тяжелой работы, которую теперь выполняли только евреи, и видели, что все горелки на плите заняты, они начинали бранить счастливцев, которым удалось захватить кухню раньше. Но если кто-то из счастливцев рисковал хоть на минуту выйти, вполне могло случиться, что другой жилец снимет его кастрюлю с огня и поставит свою. Некоторые уже поздним вечером прокрадывались на кухню, чтобы тайком приготовить то, что подсунул им какой-нибудь друг или лавочник-нееврей. Опасение, что кто-то из жильцов может увидеть или отобрать еду, а то и вовсе донести, было очень велико. Большинству жильцов было от сорока до пятидесяти лет, и они не привыкли к физической работе. Сил у них было немного. А скудных пайков — евреи не получали ни мяса, ни сахара, ни овощей, ни фруктов — и без того не хватало, чтобы поддержать людей, выполнявших тяжелую работу. Играл свою роль и страх перед завтрашним днем, перед неизвестностью. По воскресеньям жильцы или спали, или слонялись по своим убогим, скудно обставленным комнатам. И всегда за спиной у них жил страх.

Депортации продолжались с неумолимым упорством. Пришел черед и Конрада Коэна. Все случилось точно так, как он и

предсказывал. Как уже не раз бывало, его вызвали в гестапо, где обвинили в совершеннейшей ерунде: он якобы пренебрег своими обязанностями. В одной из подчиненных ему организаций не хватило одного куса мыла, — впрочем, причина была выдумана от начала до конца. Спустя несколько дней его жена узнала, что он содержится в Полицай-президиуме на Александерплац. Она попыталась принести ему поесть, но поначалу у нее не взяли передачу, сказав, что ничего о нем не знают. Потом наконец ей разрешили доставить мужу смену белья. В грязном, которое она принесла домой, ему удалось передать ей записку.

«Никогда не думал, что смогу вынести такое», — писал ей этот избалованный человек, который всю свою жизнь, до последних дней, благоденствовал. Он довольно долго пробыл под арестом, без допроса, без суда, без защитников. Потом к жене вообще перестали поступать сведения о нем. И когда она в очередной раз принесла смену белья, у нее ничего не взяли. Никто не знал, где теперь находится Конрад Коэн, то ли в концлагере, то ли его вообще больше нет в живых. Жена металась от одного к другому, просила о помощи прежних его коллег, но никто из них, даже если и осмеливался спросить об этом гестапо, не получил ответа. «В свое время узнаете», — цинично отвечали гестаповцы.

Леонора Коэн почти обрадовалась, когда однажды утром забрали также и ее, и дочурку Марианну.

«А меня поместят вместе с мужем?» — умоляющим голосом спросила она гестаповца. «Само собой», — равнодушно ответил тот. В квартире остались лишь престарелые родители. Однажды к ним заявился какой-то гестаповец с женой и потребовал, чтоб его впустили.

— Мы пришли взять белье для вашего сына, — сказал он госпоже Коэн.

— Для моего сына? А где он? — спросила она.

— Вот этого я вам сказать не могу. Так где его шкаф?

Мать торопливо подбежала к шкафу и открыла дверцы.

— Там вы найдете его теплые вещи, — она указала на один из ящиков, — а там...

Но гестаповец не дал ей закончить фразу, с ухмылкой заметив:

— Ну, они-то ему вряд ли понадобятся. А теперь уйдите! — грубо прикрикнул он на госпожу Коэн. — Мы и сами управимся. — И когда старушка ушла, обратился к жене: — Что ты скажешь насчет пухового одеяла? — Он указал на кровати в спальне супругов Коэн, где до сих пор все было так же, как и при хозяевах.

Жена гестаповца подошла к кроватям, пощупала одеяла и сказала:

— Хороши!

— И ковры у них красивые. Бери все, что сможешь унести.

И они взяли все, что смогли унести. Это заняло у них очень много времени. После их ухода комната выглядела, словно лавка старьевщика. Старушка Коэн медленно убрала разбросанные вещи. Она не проронила ни слова.

Леонору Коэн увели как раз в тот день, когда была депортирована группа бывших коллег ее мужа по Государственному объединению евреев в Германии. 22 июня 1942 года, ровно в восемь утра, гестапо появилось перед зданием объединения, что на Кантштрассе. Тех, кто пришел позже восьми, а таких было большинство, забирали на месте. Конрада Коэна тем временем отправили в концлагерь Маутхаузен, где он бросился на колючую проволоку ограды, по которой был пропущен ток. Вероятно, он понял, что все равно не выживет в концлагере.

28 мая 1942 года гестапо провело необычную акцию: оно забрало прямо из квартир пятьсот мужчин, и никто не знал, почему и за что. Лишь позже мы выяснили, что это была месть за покушение на Гейдриха. Среди этих пятисот оказался и мой друг Макс Блюменталь.

«Вечером он вернется», — сказали мужчины, уводившие Макса, его жене Лили. Но Лили напрасно ждала его вечером. Она продолжала ждать еще много дней, пока не получила приказ готовиться к депортации. Прощаясь с нами, она заявила почти веселым тоном: «Я буду вместе с Максом, они мне так сказали». На самом деле Макса уже давно расстреляли вместе с остальными, о чем она не знала. Это до нас дошел такой слух. Я очень плакала, а мать ругала меня: «Лили может подумать, что Макс был для тебя больше, чем просто дальний родственник». Она не могла понять одного: Макс дал мне почувствовать, что значит быть молодой.

Вокруг нас ширилась пустота. Я много плакала. Я отчаянно цеплялась за Ганса Розенталя. Где бы мы ни прощались с ним, я всякий раз заливалась слезами, поскольку боялась, что больше мы не увидимся. Моя мать не одобряла эту связь: ей казалось бессмысленным заводить подобные отношения в такое время. Причем она очень хорошо понимала, что к Гансу, который был почти на двадцать лет старше меня, я испытывала в некотором роде дочерние чувства. Но мне казалось, что я люблю его. Вероятно, я и в самом деле любила. Ведь, в конце концов, Ганс был у меня первым другом. А может, во мне говорило желание обрести в нем опору. Мать боялась, что я выйду за него замуж и брошу ее. Причем она высказывала свои опасения вслух: «Тогда вас вдвоем отправят в Терезиенштадт, а меня одну — в Ригу». Разубедить ее не было никакой возможности. Под конец она запретила мне ночевать у Розенталей с субботы на воскресенье, что я уже делала некоторое время. Ничем, кроме серьезных разговоров, которых мы не могли бы вести ни в каком другом месте, мы тогда не занимались. Однако мать этому не верила.

Ганс жил со своей матерью на Паризерштрассе, 19, где его отец, санитарный советник Розенталь, некогда держал свой кабинет. Здесь все было как прежде, и от этого становилось как-то теплей на душе. Я охотно там бывала. Иногда мы украдкой целовались. Но если Ганс хотел позволить себе что-то еще, я шарахалась от него и начинала плакать. А фрау Розенталь заступалась за меня перед матерью: «Фрау Дойчкрон, разрешите вашей дочери ходить к нам. Я ведь не оставляю их наедине». Но это не помогло. После запрета матери один из друзей предложил нам видиться днем в его комнате. И хотя я мечтала о тех часах, которые мы проведем вместе, сама по себе комната внушала мне неприятное чувство. Ганс, человек очень спокойный и открытый, однажды заговорил со мной о близких отношениях: «Сама подумай, ну что мне делать? В нормальное время мы бы уже давным-давно поженились...» Но я в ответ заливалась слезами и умоляла не трогать меня. Все мои чувства были сосредоточены на том, как избежать опасностей. Нервы всегда натянуты до предела. А кроме того, я просто боялась. И всякий раз, уходя от Ганса, я думала, что сегодня мы виделись в по-

следний раз. Я плакала, плакала, но моя мать не должна была видеть этих слез.

Настал день, когда они забрали его вместе с матерью. Я узнала это, лишь придя к ним домой. В тот день гестапо подъехало к Управлению еврейской общины, что на Ораниенбургерштрассе, и перекрыло все выходы. Гестаповцы объяснили свои действия тем, что общине, сильно поредевшей во время депортаций, не требуется такое большое правление. Вот они и приехали, чтобы забрать ненужных работников. Ильза Баш, жена нашего бухгалтера, присутствовала при этой акции, но ее не тронули. Позднее Ильза рассказывала, как сидевший с ней в одном кабинете Альфред Берлинер, артист из давно уже закрытого еврейского культурбунда, вдруг встал, взял шляпу, вежливо сказал: «До свиданья» — и вышел из комнаты. Так же вежливо он снял шляпу перед стоявшими у входа гестаповцами, а те в свою очередь так же вежливо ответили ему. Берлинер вполне мог спокойно спуститься по лестнице, раскланяться с гестаповцами у подъезда, после чего исчез бы в толпе. Но тут гестаповцы спохватились, что от них кто-то хочет сбежать.

Ганса Розенталя и его мать отвезли в бывший еврейский дом для престарелых на Гросе-Гамбургерштрассе. Это здание, построенное в XVIII веке, долгое время служило сборным пунктом для лиц, подлежащих депортации. За ним располагалось старейшее еврейское кладбище Берлина, где среди прочих был похоронен и Мозес Мендельсон. Когда гестапо вносило в свои списки Ганса, один из гестаповцев выступил против его задержания и напомнил коллегам о том, какие хорошие связи у этого еврея с берлинскими оптовиками. И что было бы куда разумнее не депортировать его, а использовать эти связи. Вот почему с дверей квартиры Розенталей сняли печать. Старая фрау Розенталь распаковала свой рюкзак. «Интересно, надолго ли?» — спросила она у сына.

Сестра моего отца Эльза сообщила нам, что ее вместе с мужем собираются депортировать, и попросила нас прийти. Поскольку они жили в Шпандау, мы последнее время почти не общались. Телефоны у евреев отключили, а пользоваться общественным транспортом им дозволялось лишь для поездок с работы и на работу, а также по исключительным семейным обстоятельствам. Кроме того, мать была слишком измучена ра-

ботой на фабрике, где ей в основном доставалась ночная смена, чтобы предпринимать столь дальние поездки. Но тут мы все-таки отправились.

Было это как раз в день их депортации. В крохотной, отведенной им комнатухе — квартире у них давным-давно отобрали, — у дверей стояли два готовых рюкзака. Комната была набита мебелью, которой некогда была обставлена их великолепная квартира. Исчезли только дорогие ковры. Их пришлось отдать на хранение арийцам, «до тех пор, пока мы не вернемся».

Тетя Эльза и мой дядя уже собрались и сидели, ожидая, в слезах. Темные глаза на широком бледном лице дяди покраснели из-за недосыпания. Его толстая, грубая рука поглаживала плечо тетки, по отношению к которой он не проявлял нежных чувств все тридцать лет их брака. И при этом непрерывно бормотал: «Мамочка, мамочка моя». Сказать что-нибудь еще он был просто не в состоянии. Тетя у меня была маленькая и худая, с распухшими от слез глазами, она сидела, опустив голову, чтобы скрыть душевную боль, отражавшуюся на ее лице. «Привет Мартину, передай привет Мартину», — снова и снова твердила она. Отец был у нее любимым братом. Она то и дело целовала меня. А мать держалась на удивление хорошо и, вопреки собственному убеждению, тоже повторяла: «Мы ведь еще увидимся, мы ведь еще увидимся».

Моя маленькая тетя лишь покачала головой: «Вам пора идти. Кто знает, когда они за нами придут».

Потом мы ушли. Я и по сей день слышу, как скрипели ступеньки у нас под ногами. Из темного вестибюля мы вышли в холодный зимний день. Не успели мы отойти, как к дому подъехала полицейская машина. Стоя так, чтобы нас нельзя было углядеть из машины, мы увидели, как два уполномоченных с желтыми звездами на пальто скрылись в подъезде. Через несколько минут они вышли из подъезда, тетя шла впереди со слишком большим для нее рюкзаком на спине, шла быстро, словно желая, чтобы вся эта процедура закончилась как можно скорее. Дядя ковылял за ней. Они не оглянулись, ни разу не оглянулись, когда эти двое поднимали борт грузовика. Они не удостоили ни единым взглядом город, который тридцать лет подряд был их городом. Я заплакала. Мать, взволнованная не



меньше, чем я, прикрикнула на меня: «Возьми себя в руки! Вдруг кто-нибудь увидит...» Мы ведь были без звезд. И казалось, будто, кроме нас, на улице никого нет. Просто удивительно, как это берлинцы умудрялись не присутствовать на акциях, которые совершались в городе. Поезда, предназначенные для депортации, отходили с вокзала Груневальд, потому что некоторые берлинцы в свое время стали свидетелями первой депортации с Лертерского вокзала и позволили себе неодобрительные возгласы. А может быть, на окраине леса гестаповцам было легче еще разок обыскать людей и, глумливо смеясь, отобрать последнее у тех, кто тщетно надеялся, что малая толика денег или какая-нибудь золотая побрякушка, если хорошенько зашить их в подол платья, помогут им на первых порах.

Тетя Эльза и ее муж были последними из нашей семьи, кого депортировали таким образом. Другую сестру отца увезли вместе с обитателями дома для престарелых, где она работала после смерти мужа. Брат исчез со всей семьей, и мы так ничего и не узнали о них. Слышали только, что гестапо не обратило ни малейшего внимания на справку от врача, где говорилось, что дядя нетранспортабелен. Моя кузина, ее муж и обожаемая нами трехлетняя белокурая Белла оказались в числе первых, кто совершил это страшное путешествие. Ни об одном из них мы никогда никаких известий не получали.

В ноябре 1942 года мы впервые услышали по Би-би-си о газовых камерах и расстрелах. Мы не могли, не хотели в это поверить. Ряды вокруг нас редели.

Однажды пронесся слух, что в Берлин перевели венское гестапо, поскольку Вену уже очистили от евреев, а Берлин отставал — местные гестаповцы не проявили должной расторопности. Теперь венскому гестапо предстояло покончить с берлинскими евреями. «Анкеты» были отменены. Венское гестапо действовало по-другому: оно использовало большие мебельные фургоны каких-то транспортных фирм. В этих фургонах гестаповцы разъезжали от одного еврейского дома к другому. Делали они все очень быстро. Людей загоняли в фургоны, не давая им собраться. А если кто-то начинал звать жену или детей, гестаповцы спокойно говорили: «Да увидитесь вы!» После чего крики смолкали.

Мать Ганса, Кете Розенталь, однажды увезли именно таким образом. «Но мой сын...» — пыталась она объяснить и услышала в ответ: «Ваш сын нас совершенно не интересует», после чего ее тоже препроводили в фургон. Квартиру опечатали. На сборном пункте она спросила уполномоченного о своем сыне. А Ганс сразу обратился в гестапо. Он был пока нужен им, поэтому ему разрешили вместе с матерью вернуться домой. И мать еще раз распаковала свой рюкзак.

Вместе с гестапо в Берлин приехали из Вены три еврея, которые в австрийской столице были гестаповскими подручными. Али вызвала у меня искреннее восхищение, когда она с гордостью сообщила, что знает одного из них еще с тех времен, когда работала в филиале Местного союза германских евреев. Нам это показалось великой удачей. Вскоре после этого она привела своего знакомого в контору. Я не сохранила четких воспоминаний о Роберте Герё. Помню только, что у него были усы, очки и еще что он говорил с венским акцентом. Между собой мы звали его Шмидт. Вейдт держался по отношению к нему почти подобострастно, как, собственно, и все мы, ибо он пообещал как можно дольше не подпускать пресловутые мебельные фургоны к нашему дому. Вейдту было нетрудно расположить к себе этого Герё. Антинацист, который во что бы то ни стало хотел спасти своих слепых — и свою Али заодно, — в глазах человека постороннего, в том числе и в глазах венского еврея, это выглядело красиво и трогательно. С этих пор Роберт Герё начал принимать участие во всех наших застольях, выпивал с нами и развлекался.

Мебельные фургоны внушали ужас берлинским евреям. Как-то раз они подъехали и к мастерской Отто Вейдта. Забрали всех слепых и глухонемых. Я не могу забыть эту сцену. Не произнеся ни единого звука, люди отложили работу, взяли свои вещи, подали друг другу руки и безмолвно, ощупью, спустились по лестнице. У многих были зрячие жены, без которых они не могли обойтись. Но гестаповцев это не интересовало. Их просто загнали в фургоны, как и всех остальных. Вейдт молчал. Он словно окаменел от гнева. Всякую попытку завести разговор гестаповец пресекал. Он-де должен выполнить свой долг, а долг этот заключается в том, чтобы доставить слепых и глухонемых на сборный пункт. Этот пункт на Гросе-Гамбургер-

штрассе находился неподалеку. Вскоре после того, как фургон отъехал, Вейдт ушел из мастерской. Он ничего не сказал, а мы не посмели его ни о чем спрашивать. И снова он отправился в гестапо с палкой и повязкой слепого на рукаве.

Во второй половине дня ему удалось добиться своего. Он сумел освободить слепых рабочих. Никто не присутствовал при том, когда Вейдт объяснял гестаповцам значение своей мастерской для фронта. Никто не знает, как это у него получилось. Возможно, он подкрепил свои аргументы «дарами». А слепых он сразу же увел за собой. Он не поддался на уговоры, что они, мол, придут попозже. Отто Вейдт стоял перед сборным пунктом и ждал, пока они выйдут. Впереди слепых, которые, взявшись за руки, следовали за ним с желтыми звездами на кожаных рабочих фартуках, он пешком прошел всю дорогу от пункта до мастерской. Однако Вейдт прекрасно понимал то, о чем сказал вслух: «Это было в последний раз».

## ПЕРЕХОДИМ НА НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Вы должны мне кое-что пообещать», — настойчиво потребовала от нас маленькая фрау Гумц. При этом она словно тискала сжала руки моей матери. Ее голубые глаза от возбуждения сверкали и мерцали как блуждающие огоньки. Оттопыренные губы над редкими, чуть выступающими вперед зубами, дрожали. И она все повторяла: «Вы должны мне кое-что пообещать». Дело было сумрачным ноябрьским днем сорок второго года. Уже целый год транспорты с евреями из Берлина регулярно уходили на восток. А куда, никто точно не знал.

— Да что я вам должна обещать? — растерянно спросила мать. — И как я вообще могу вам что-то обещать, когда даже не знаю, о чем идет речь?

— Все равно, обещайте, — настаивала фрау Гумц. Смущенно и тихо она пояснила: — Если я вам скажу заранее, вы, может, начнете колебаться.

— Ну ладно, — в конце концов согласилась мать. — Я вам обещаю.

Фрау Гумц коротко и, как мне показалось, радостно засмеялась.

— Вы только что пообещали мне, что вы с Ингой не дадите себя депортировать, как это делают остальные.

— Но, фрау Гумц, — воскликнула мать и наконец высвободила руки из ее крепкой хватки, — я ничего не понимаю, да и вообще, что произошло, почему вы вдруг так заговорили и как вы это себе представляете?

Фрау Гумц чуть наклонилась вперед:

— Соседский Фриц, вы ведь знаете, ну, тот молодой солдат, что вернулся с Востока... — и, понизив голос до шепота, договорила: — Он рассказывал, что там делают с евреями.

— А что делают? — спросила мать взволнованно.

— Не могу вам передать, это слишком страшно. — Последние слова она произнесла сквозь слезы. — Фрица заставили расписаться в том, что он не будет рассказывать, что там видел, но кто бы мог...

— Значит, то, что говорит английская станция, это и в самом деле правда? — Похоже, мать спрашивала саму себя. Она вспомнила невнятные сообщения об отравлении газом, казнях, расстрелах евреев, о том, чему никто из нас толком не верил или, верней сказать, не хотел верить. Это казалось невозможным.

Судя по всему, фрау Гумц знала, что мать задаст ей такой вопрос, потому что тут же ответила:

— Мы вам поможем, я обещаю. Мы с мужем уже все обговорили. Вы переберетесь к нам.

Вот так просто она это сказала. Когда мы вышли из ее лавки на темную улицу, она крикнула нам вслед:

— Не забудьте, что вы мне обещали!..

Ее почти умоляющий голос еще долго звучал в наших ушах.

— Надо все обсудить с доктором Островски, — заметила мать, — не так-то это просто.

Пребывая в сомнениях, мы пошли к Островски.

— Гумцы — такие простые люди, что им трудно представить себе последствия своей затеи, — не раз повторяла мать, когда мы обсуждали возможность перехода на нелегальное положение. Она твердила это снова и снова, но Островски думал по-другому.

— Превосходная идея! — воскликнул он, потирая от радости руки. Наконец-то ему представилась возможность доказать свою оппозиционность властям. — Конечно, мы с Гретой поможем вам.

После того как Островски выгнали с государственной службы, его подруга Грета открыла писчебумажную лавку и при ней небольшую библиотеку. Отчасти это служило источником доходов, отчасти — маскировкой, поскольку бывшие функционеры социалистической партии в глазах гестапо выглядели край-

не подозрительно. Нормальная буржуазная жизнь могла развеять эти подозрения или на худой конец ослабить их. Островски занимали маленькую квартирку в районе Берлин-Халлензее. Словом, было ясней ясного, что у них прятаться негде.

— Об этом не беспокойтесь, — в один голос твердили они. — В конце концов, есть лавка, есть лодочный сарай. Да и в Берлине немало людей думают так же, как и мы.

Весьма успокоенные и с изрядным количеством продуктов, которых нам уже несколько лет даже видеть не доводилось, мы покинули наших друзей, причем моя мать пребывала в твердом убеждении, что, пожалуй, стоит рискнуть.

«Теперь Гитлер долго не продержится, ну от силы месяца три», — заверял Островски. Он говорил это очень убежденно, а мы просто изголодались по уверенности и оптимизму и поэтому с благодарностью восприняли его слова. Как он сам пришел к такому выводу, как сумел убедить нас, я не припомню. Разумеется, Островски слушал по английскому радио сводки о военном положении, но почему осенью 1942 года, когда Гитлер еще пребывал на вершине власти, он предрекал скорый конец Третьего рейха, я и по сей день не знаю.

Итак, решение было принято. Неясным оставалось лишь одно: когда именно мы перейдем на нелегальное положение. Нам хотелось сделать это по возможности позже. С величайшим вниманием мы наблюдали, как гестапо медленно, но неуклонно депортировало евреев из Берлина. Вернувшись однажды с работы домой, я обнаружила записку от матери, которая ходила в вечернюю смену. В записке было сказано: «Я больше не могу. Мы должны спрятаться как можно скорей». Но что случилось?

Потом мать рассказала, что произошло, пока меня не было дома. В дверь позвонили, и она открыла. Перед ней стояли два долговязых типа, один — гестаповец, другой — его шофер. Они потребовали впустить их, чтобы забрать кое-что из опечатанной комнаты нашей соседки, которую депортировали несколько недель тому назад.

— А ты чего дома сидишь? — спросил гестаповец. Мать объяснила, что ходит на работу в вечернюю смену. — Ха-ха, тогда может, заодно и тебя прихватить? — весело сказал он и похлопал ее пониже спины. — Где твоя комната?

Мать прошла вперед, чтобы показать им комнату. Гестаповец уселся в кресло и велел шоферу тоже сесть.

— Ну ладно, собирай вещи. Много тебе не понадобится. А мы пока подождем.

Мать не знала, как ей себя вести. Наконец она сделала вид, будто не совсем поняла, чего они хотят, взяла шитье и села.

— Ты живешь одна? — спросил гестаповец.

— Нет, у меня есть дочь.

— Ну, давай, поторапливайся! — прикрикнул он.

Мать спокойно объяснила ему, что уж раз ее хотят депортировать, то она хочет ехать вместе с дочерью, а дочь еще на работе.

— А ты что скажешь? — обратился гестаповец к шоферу. — Взять ее или оставить?

Шофер укрыв лицо за газетой и лишь пожал плечами. Тогда гестаповец встал, подошел к матери и схватил ее.

— Прекратите! — крикнула она, пытаясь вырваться из его рук. Когда гестаповец на мгновение отвернулся, шофер знаками дал понять, что гестаповец просто затеял с ней жестокую игру. Она снова взялась за шитье. Гестаповец встал перед ней, подбоченился и рявкнул:

— Ты что, оглохла? Собирайся, поедешь с нами!

Она еще раз попросила не забирать ее без дочери. Гестаповец громко захохотал и, обернувшись к шоферу, спросил:

— Как, по-твоему, может, пока оставим ее?

Шофер осторожно кивнул.

— Ну ладно, — произнес гестаповец, поворачиваясь к выходу, — но в другой раз ты так дешево не отделаешься!

Мать не могла точно сказать, сколько продолжалась эта попытка. Ей казалось, что много-много часов.

Надо полагать, что примерно в то же самое время к нам в мастерскую пришел Роберт Герё и сказал мне: «Если ты и впрямь хочешь перейти на нелегальное положение, то поторапливайся. Я не смогу долго тебя защищать». В Берлине оставалось всего лишь несколько «неочищенных» еврейских домов. Венскому гестапо вот-вот удастся окончательно избавить Берлин от евреев. Это было делом ближайшего времени. Я сказала Гёре, что собираюсь перейти на нелегальное положение. Мы опять сходили к Гумцам: «Вы действительно думаете?..» Мать

не успела договорить, как фрау Гумц воскликнула: «Да!» — и глаза у нее засияли.

Разумеется, я и Вейдта известила о наших намерениях и в ответ получила обещание всяческой помощи. Когда я к слову помянула, что у нас есть некоторые вещи, которые мы бы хотели спасти от гестапо, он ответил: «На моих складах еще много места».

Мать начала готовиться к переезду. Каждый день, приходя с работы, когда ее уже не было дома, я заставляла очередной уложенный чемодан. Назавтра я с утра пораньше волокла этот чемодан в мастерскую Вейдта. Согласно новому закону, евреи в Германии вообще не должны были иметь никакого имущества. Они были не владельцы, а всего лишь потребители государственного добра. У нас оставались еще две кушетки, которые могли нам пригодиться. Я спросила у Вейдта совета. Вейдт был человеком практическим. «А мы увезем их на нашем грузовике», — сказал он, хотя не хуже меня понимал, что это дело рискованное. Но Вейдт вообще ничего не боялся. «Да мы так быстро, что никто и не увидит!» Мы договорились вывезти кушетки утром, когда почти все уходят на работу, а моя мать из-за своей ночной смены как раз сидит дома. Так и сделали. За несколько дней до перехода на нелегальное положение мы попросили свою хозяйку снова поставить в нашу комнату кровати, которые она нам раньше предлагала. Несколько вещей, которые мы собирались оставить, я привела в nepотребный вид, поцарапав их. Глядя на эти царапины, я испытывала искреннее злорадство. Когда же сборы закончились, мы назначили точную дату своей «нелегальщины».

— Ну хорошо, ваши друзья спрячут вас, — сказал Вейдт, — все замечательно, но что вы будете делать целый Божий день? Сидеть на одном месте?

И он был совершенно прав. Об этом мы даже и не подумали. Зато он подумал. «Ты можешь продолжать работать у меня. Надо только сообразить, как это легализовать», — размышлял он вслух. Я ровным счетом ничего не понимала и решила оставить все на его усмотрение, убеждая себя, что уж он-то что-нибудь придумает... Спустя несколько дней в его конторе появилась фрау П. Я знала, что у нее есть квартира где-то неподалеку от Александерплац, что она имеет дело с черным рынком, а



вдобавок держит у себя девушек, занимающихся древнейшей профессией. Я никогда не обращала на нее особого внимания, знала лишь, что к Вейдту ее пропускают в любое время и что она с ним на «ты».

Как-то утром Вейдт пригласил меня в контору и спросил:

— У тебя случайно нет при себе пятидесяти марок?

Я с удивлением поглядела на него, но кивнула.

— Тут фрау П. раздобыла для тебя трудовую книжку. — И он протянул мне документы.

Я тупо уставилась на орла с нацистской эмблемой, однако по-прежнему ничего не понимала.

— С этого дня ты у нас будешь Гертруда Дерезевски. Посмотри внимательно, когда ты родилась. И выучи все наизусть.

Вейдт хитро улыбнулся и рассказал, как ему это удалось. Гертруда Дерезевски была одной из девушек, «близких фрау П.». Она не испытывала ни малейшего желания до пятидесяти пяти лет, подобно другим немецким женщинам, отбывать трудовую повинность на каком-нибудь оборонном предприятии и предпочла вернуться к прежнему ремеслу. Вот почему Гертруда Дерезевски по дешевке продала свою трудовую книжку, а взамен как сотрудница мастерской слепых Отто Вейдта получила служебное удостоверение. Я тоже получила такое удостоверение, которое отличалось от удостоверения Гертруды лишь фотокарточкой. Гертруду Дерезевски официально занесли в списки больничной кассы и Управления занятости.

И вот этот день настал. Было 15 января 1943 года. У нас за спиной захлопнулась стеклянная дверь берлинского доходного дома. Мы стояли на улице. «Я забыла часы!» — вдруг воскликнула мать. Она побледнела: неужто еще раз подниматься наверх? Это казалось нам дурным предзнаменованием. И все же мы рискнули. Мать тихо отперла дверь, чтобы нас никто не увидел. Звезду мы уже спорили со своих пальто, и наше появление среди бела дня с большими сумками могло вызвать удивление, а то и вовсе подозрение. Итак, мы снова вернулись в почти пустую комнату, которая показалась нам голой и чужой. Часы матери и впрямь лежали на столе. Она быстро схватила их. И мы отправились к Гумцам, которые радостно приветствовали нас.

«Я так горжусь, что сумела вас уговорить! — воскликнула эта простая женщина и показала нам маленькую комнатку в глубине их полутемной квартиры на первом этаже. — К нам ходит столько разного народу, что на вас никто не обратит внимания». Подобно доктору Островски, она не сомневалась в скором конце Гитлера.

Первую ночь в этой новой жизни я начисто позабыла. Я настолько устала, что тут же заснула в супружеской кровати, которую мне много недель предстояло делить с матерью.

На другое утро я, как обычно, пошла на работу в мастерскую Вейдта. Теперь моя жизнь была, так сказать, легализована новыми документами, а клиентам и представителям фирмы Вейдта, знавшим меня, сообщили, что я вышла замуж. Али, которая, как и Вейдт, была не лишена чувства юмора, принесла старое обручальное кольцо. Отныне я стала фрау Дерезевски и была обязана терпеливо выслушивать двусмысленные шуточки насчет первой брачной ночи. Но мне было все равно.

А так в моей работе поначалу ничего не изменилось. Зато мать с трудом привыкала к безделью. Она старалась помочь по хозяйству, но из этого ничего не получалось, потому что в семействе Гумцев не было твердого распорядка дня. Каждый ел, когда ему заблагорассудится. Мать не могла даже помогать на кухне, потому что плита стояла в той же комнате, где развешивали для просушки белье, гладильщица водила тяжелым утюгом по крахмальным воротничкам, а гладильный пресс работал почти безостановочно. Покуда обед булькал на плите, фрау Гумц принимала у клиентов пакеты с грязным бельем, готовила его для сортировки и выдавала пакеты с чистыми вещами. Мать, изнывавшая от безделья, всегда очень радовалась, когда я приходила с работы домой и составляла ей компанию. Если она жаловалась фрау Гумц, что очень страдает от своей ненужности, та в ответ давала ей заштопать пару чулок и говорила при этом: «Лучше радуйтесь, что в кои-то веки можете отдохнуть». Эта простая женщина никак не могла понять, что жизнь на нелегальном положении не дает моей матери покоя. Впрочем, первые ночи после перехода на это самое положение мы спали куда спокойнее, чем прежде, ибо нас не терзала больше забота о том, какие пакости и мучения припас для нас грядущий день.

Каждый вечер господин Гумц ухитрялся поймать какую-нибудь зарубежную радиостанцию. Этот угловатый, коренастый человек в рабочей одежде буквально прикипал к приемнику, а заодно с ним и мы. Если ему ничего не удавалось поймать, потому что у нас часто глушили передачи на немецком языке, у него на целый вечер портилось настроение, и он снова и снова крутил ручку настройки. А если его усилия приводили к успеху и сводки военных новостей были неблагоприятными для Гитлера, беззубый рот Гумца кривила ехидная усмешка. Его двенадцатилетний сын тем временем играл в комнате, но острый взгляд мальчика давал понять, что он отлично понимает, чем занят его отец. Мальчик не был в гитлерюгенде. «Это нам удалось, — смеялся Гумц-старший. Он все время радовался своей удаче и хлопал себя по ляжкам. — Я им прямо сказал, что у него плоскостопие, а доктор выдал ему справку. Нельзя же маршировать, если у тебя плоскостопие».

Фрау Гумц всегда тревожилась за своего «папу». «Слишком много он говорит», — жаловалась она, надеясь, что мать поддержит ее. Гумцу была совершенно неведома осторожность. Если очередной клиент произносил в знак приветствия «хайль Гитлер!», он выходил из задней комнаты, чтобы внимательнейшим образом рассмотреть этого человека, а потом заводил с ним разговор. Он умел пробуждать неуверенность в подобных людях, которые никак не могли понять, чего он хочет. Иногда он во всех подробностях рассказывал им о том, что ожидает нашу планету. «В живых останется лишь столько людей, сколько сможет уместиться под кроной одной липы», — вещал он как Свидетель Иеговы. Одни слушали его с недоверием, другие — со страхом. Едва ли он мог кого-нибудь убедить своими проповедями, но многие уже и сами допускали, что ничем хорошим все это не кончится, хотя ничто такого конца пока не предвещало. «Мы еще допобеждаемся до смерти», — испуганно говорили некоторые из гумцевских клиентов. Фрау Гумц, не столь разговорчивая, вполне могла позволить себе саркастические реплики вроде: «Ах, уж наш фюрер все сделает как надо, не тревожьтесь зря».

В доме у Гумцев было весело. Чтобы доставить мне удовольствие, иногда к обеду приглашали Ганса Розенталя. На стол всякий раз подавали жаркое из кролика. Тогда очень многие

берлинцы разводили кроликов, кто у себя на садовом участке, кто, как семейство Гумцев, в подвале, а то и вовсе на балконе. В садах и городских парках берлинцы собирали корм для воскресного жаркого. Гумцы же добавляли к трапезе овощи со своего огорода в Древице, пригороде Берлина. А кроме того, подавали хмельное фруктовое вино собственного производства. Неудивительно, что все мы были очень довольны.

Мне припоминается один из таких вечеров, когда в гости пригласили Ганса, но довольно сильный по тем временам налет скоро прервал наше застолье. Поскольку Гумцы жили на первом этаже, нас не заставляли спускаться в подвал. Ганс очень беспокоился, что ответственный за противоздушную оборону заметит его отсутствие в бомбоубежище: время давно перевалило за восемь, когда всем евреям положено находиться дома. И снова нас охватил страх, о котором мы позабыли на несколько приятных часов. Рвущиеся неподалеку бомбы по сравнению с этим страхом казались чем-то незначительным.

Через несколько дней после нашего перехода на нелегальный образ жизни я сидела в конторе Вейдта и вдруг услышала, как знакомый женский голос — хотя я и не сразу могла вспомнить, кому он принадлежит, — спрашивает меня. Я судорожно пыталась сообразить, чей это голос. Потом услышала Вейдта.

— Дойчкрон? — переспросил он. — Ее уже несколько дней нет на работе. А чего вы хотели?

Я тут же юркнула под письменный стол, поняв что это арийская жена одного из наших соседей по Бамбергерштрассе, 22. Али встала, чтобы предостеречь меня. Углядеть меня в моем укрытии она не могла. Лишь когда я осторожно выглянула, Али увидела, где я, и спокойно уселась за мой стол. Теперь меня совсем не было видно. Я услышала, как фрау Ваксман говорит:

— Дойчкроны исчезли, не заплатив ни за газ, ни за электричество. Да и ключ от дома прихватили с собой.

— А почему вы, собственно, пришли сюда? — спросил у нее Вейдт.

— А потому, что недавно видела ваш грузовик и заметила, как вы погрузили в него кушетки Дойчкранов. Вот я и подумала...

Вейдт перебил ее:

— Я вспомнил, что Дойчкрон не получила последнее жалование. Я могу расплатиться из этих денег. Сколько они должны?

Фрау Ваксман назвала сумму, а Вейдт приказал бухгалтеру выплатить ее якобы из конверта с моим жалованием.

— Теперь все в порядке?

— А ключ от дома?

— Вот с ключом я вам, к сожалению, помочь не могу. Но если Дойчкрон у нас вдруг объявится, я непременно скажу ей про ключ, — успокоил Вейдт гостью, после чего она с довольным видом покинула мастерскую.

Я вылезла из своего укрытия. Про неоплаченные счета я, разумеется, не подумала, и мне было очень неловко. Вейдт сказал: «Да не расстраивайся ты, все сразу не сообразишь». Потом мы начали прикидывать, как бы переслать ключ, не навлекая на Вейдта подозрений, что он где-то со мной встречался.

Несколько дней спустя я поехала электричкой в Грюнау, пригород Берлина, чтобы там отправить по почте ключ и письмо, в котором попрошу извинить меня за то, что я лишь теперь и таким вот способом возвращаю ключ. «Все произошло так быстро, что я забыла про ключ и вспомнила о нем лишь теперь, когда обнаружила его у себя в кармане». Вдобавок я вложила в конверт деньги за электричество и газ. С тех пор мы больше ничего не слыхали о фрау Ваксман. Правда, несколько дней я вела себя очень осмотрительно, а потом мы забыли об этом случае.

Нам было ясно, что и Али тоже когда-нибудь придется прятаться. Она снова и снова заводила с «папочкой» (так Али называла Вейдта) разговоры на эту тему. Без родителей она, конечно, прятаться не станет. Вейдт долго думал и наконец решил снять так называемый подсобный склад. В мастерской на Розенталерштрассе было слишком мало места. Так что необходимость в еще одном складе выглядела вполне правдоподобно. Короче, Вейдт снял помещение для магазина на Неандерштрассе, 18. Там хранились готовые веники и щетки. Если бы кто заглянул на этот склад, то сразу бы понял его назначение. А вот в помещении, расположенном позади склада, приготовили квартиру на троих, и однажды ночью в нее въехало семейство Лихт. Али, как и прежде, ходила в контору, работала секре-

тарем у Вейдта. Платили ей теперь в основном продуктами. Отец ее тоже нашел работу в мастерской. Только мать сидела день-деньской на Неандерштрассе. Кроме нас, никто об этом не знал, но многие, вероятно, догадывались.

А потом явился Хорн и стал просить: «Вейдт, ради Бога, помоги мне, я не хочу, чтоб меня депортировали. У меня есть семья, есть сын, есть дочь!» Его глаза были полны мольбой, и он все умолял и умолял. Вейдт был бы рад помочь ему, если б только знал как. И все же он придумал. Без всяких колебаний он отделил конец длинной, словно кишка, мастерской и загородил дверь большим шкафом, в котором висели пальто и платья. Но если сдвинуть их в сторону, становилось видно, что у шкафа нет задней стенки. Отсюда можно было попасть в будущее убежище Хорнов, где предстояло разместиться четверым. Вот и этих людей Вейдту надо было кормить.

За Хорнами заявились двойняшки Марианна и Аннелиза Бернштейн, лет восемнадцати. Марианна была слепая и работала у Вейдта надомницей. Они тоже умоляли его: «Папочка, помоги нам, папочка, помоги нам».

Вейдт еще раз обратился к фрау П., и она взяла обеих девочек к себе. Комнатушка — будка, как она выразилась, — позади ее квартиры пока стояла свободной. Все оказалось так просто. Нам даже доставляло удовольствие наблюдать редкостный организаторский талант Вейдта. О будущем мы и не задумывались, а только так — от убежища до убежища.

## ОТ УБЕЖИЩА ДО УБЕЖИЩА

За обедом фрау Гумц со смущенной улыбкой сказала: «Меня соседка спросила, не гости ли к нам приехали?» — на что она, фрау Гумц, ответила: «Да, это кузина из моей померанской родни». Никто больше не проронил ни слова. А мать опустила голову: она все поняла.

«Нам придется уйти отсюда, — сказала она, когда мы остались одни, — сколько же времени можно быть в гостях». То, что соседка нас заметила, конечно, не радовало. Может, она спросила из простого любопытства и ничего плохого не имела в виду, а может, и имела. А главное, что будет, если она надумает спросить о нас у ответственного по дому, или ответственного по кварталу, или, наконец, ответственного за противоздушную оборону? Мы чувствовали, что фрау Гумц очень озабочена, но нам она ничего не сказала.

— Выходные вы, конечно, можете провести в Древице. — Там у Гумцев был садовый участок.

— С удовольствием, — ответили мы. Кстати, нам и выбирать-то было не из чего.

— В воскресенье мы тоже туда приедем, — сказала фрау Гумц.

На участке у Гумцев стояла убогая дощатая будка, которую непогода и плохой уход привели в жалкое состояние. Водопровода и канализации на участке, разумеется, не было. Но если как следует натопить чугунную печь, в будке становилось довольно уютно. Обстановка была из отслужившей свой срок городской мебели. Вокруг будки росли всякие овощи, ягоды, кусты и деревья. Нам уже не раз позволяли собирать «остатки». А в тесной пристройке сидели кролики.

Словом, будка в Древице была идеальным укрытием на конец недели. А вот засидись мы там подольше, это непременно бросилось бы в глаза жителям деревни. По дороге в Древиц мы раздумывали, что нам теперь делать. Мы боялись тех слов, которые рано или поздно будут сказаны и положат конец нашему пребыванию у Гумцев. Мы боялись предстоящего разговора с доктором Островски. Мы боялись стать кому-нибудь в тягость, хоть надолго, хоть ненадолго.

— Может, вам стоит переговорить с другими друзьями, — вдруг промолвила фрау Гумц, подавая на стол жаркое, — насчет того, как жить дальше.

Она не сказала напрямую, что не может больше держать нас у себя. Но мать поспешно откликнулась:

— Ну конечно, завтра же.

У меня кусок застрял в горле. Все молчали. Наконец фрау Гумц снова заговорила:

— Мы, разумеется, и дальше будем вам помогать, продуктами и вообще.

Ей было очень мучительно говорить это, и глаза у нее подозрительно заблестели. А ее муж поспешно встал из-за стола, вышел из комнаты и начал возиться в палисаднике.

— Ничего не поделаешь, — сказала моя мать. Глаза у нее тоже наполнились слезами. Руки беспокойно забегали по скатерти. Потом она встала и тоже вышла.

Фрау Гумц молчала. Наконец, повернувшись ко мне, она с трудом произнесла:

— Вы нас тоже поймите. Мы и сами не рады.

— Ну конечно, — откликнулась я, — уж что-нибудь мы придумаем.

Но сказала я это лишь, чтобы утешить фрау Гумц, поскольку и сама не знала, что тут можно придумать.

Когда я вспомнила про доктора Островски, у меня возникли сомнения, а сможет ли он нам помочь. Маленькая квартирка, в которой он жил со своей приятельницей Гретой Зоммер, была записана на ее имя. Его жена, еврейка, и сын занимали большую квартиру в Шарлоттенбурге. Хотя брак их давно распался, на развод он не подавал, чтобы жена не попала в руки нацистов.

Островски внимательно нас выслушал.



— Ну ясное дело, мы вам поможем.

Но как? Какое-то время мы могли спать на полу у них в гостиной.

— Это можно устроить, — сказала Грета. Потом вдруг ее осенило: — Знаете, в чулане позади моей лавки можно положить матрацы прямо на пол. В подвале есть уборная. И умывальник тоже.

Каждый вечер они после ужина будут отводить нас в лавку и там запирать. Утром я, словно первая покупательница, буду выходить из лавки и отправляться на работу. А мать сможет днем помогать по хозяйству. Мы были очень счастливы.

— А вам не помешает, что мы целый день будем сидеть у вас на голове? — спросила мать, полная дурных предчувствий.

— Господи, да сколько ему осталось, этому Гитлеру! — убежденным тоном воскликнул Островски. Конечно, это был выход лишь на время.

Прощание с фрау Гумц утонуло в слезах. «Мне так жалко!» — твердила она. И снова и снова: «Мне так жалко». И еще: «Вы ведь будете приходить к нам?» Она не просто приглашала нас, она, можно сказать, умоляла. Мы пообещали. Признаться, мать была рада покинуть маленькую темную комнату в этом безалаберном жилище.

Грузовик Вейдта доставил наши кушетки в новое убежище, на сей раз в лавке у Греты Зоммер по Вестфелишештрассе, 64. Все наше прочее добро забрала к себе фрау П., потому что у Вейдта оно валялось без присмотра. Каждый вечер мы раскладывали матрацы с кушеток в маленьком, от силы метра полтора, помещении и поспешно гасили свет, дабы никому не бросилось в глаза, что в такой неурочный час кто-то еще находится в лавке.

Фрау Мауш, вахтерша, на всем белом свете, кроме своего мужа, ненавидела только Гитлера и нацистов. Это была худая, белокурая женщина, крепкая и энергичная. Она была вспыльчива и не умела держать себя в руках. Ей было совершенно наплевать, кто станет свидетелем очередного взрыва ее ярости.

«Она еще когда-нибудь нарвется, — пророчествовала Грета. — Очень жаль, но из-за этого ей нельзя ничего говорить. Она бы очень заботилась о вас, но если разозлится, то может и выдать. Нет и нет, это невозможно». Итак, вечерами мы поти-

хоньку пробирались в лавку, не смея произнести ни слова, прислушивались к каждому звуку и понимали, что и здесь нам жить придется очень недолго.

«А что будем делать по выходным?» — спросил Островски. Оставаться в лавке мы конечно же не могли. Это было опасно. Но Грета, как всегда, нашла выход: «Что ты скажешь насчет Шильдхорна?» Она была довольна своей находчивостью. Грета вообще любила посмеяться, и возможность обвести вокруг пальца самоуверенных наци доставляла ей большое удовольствие.

Итак, 13 февраля, в конце недели, мы вчетвером отправились в Шильдхорн. День выдался по-зимнему холодный, неудобный и дождливый. В Шильдхорне у Греты и Островски был лодочный сарай. Мы доехали лишь до Штёсензеебрюке, а оттуда пришлось идти пешком. Островски и Грета шли впереди. Смеркалось. Мы с матерью разговаривали, чувствуя себя более уверенно под покровом наступающей ночи. Теперь нам редко доводилось бывать вдвоем, и мы радовались возможности власть наговориться. А что делает сейчас отец, а что он думает. Вдруг перед нами появилась чья-то фигура. Островски яростно зашипел на нас:

— Да как вы смеете так громко разговаривать! А что, если кто-то мог вас подслушать? Нам было все слышно!

Мы с матерью как по команде смолкли, безмолвно проглотив его упрек. Ну конечно же Островски был прав.

— Да, и знайте наперед: если когда-нибудь что-нибудь случится, я вас сразу выдам. Мне необходимо выжить. У меня впереди блестящая карьера.

Островски был твердо убежден, что после падения Гитлера он будет играть важную роль в демократическом государстве. Он твердо верил в себя и в свои способности. Мы молча пошли дальше. Я чувствовала, что мать вот-вот заплачет. А мое отношение к Островски, которым я до сего дня восхищалась, стало каким-то двойственным. Но я ничего не сказала.

В лодочном сарае стоял собачий холод. «Зато скоро вам станет жарко», — бодро сказала Грета, набивая чугунную печь полешками. Поначалу печь ужасно чадила, но потом стало тепло и даже уютно.

Грета призналась со смехом: «Мы еще ни разу не открывали летний сезон тринадцатого февраля».

Что и говорить, этот сарай с двумя узкими лежаками, столом, парой стульев и нишей для кухни был рассчитан только на лето.

Островски держал там свой парусник, на котором он вместе со своими друзьями по воскресеньям бороздил воды Хафеля. Это, кстати, давало им возможность обсудить политическое положение в стране, не боясь чужих ушей.

Мы вслушались в тишину, но не уловили никаких звуков, кроме треска горящих поленьев. Конец недели был таким же хмурым и холодным. В воскресенье приехали в гости родители Греты. Они привезли из своей лавки всякие продукты, которых я и мать уже давным-давно не видели: колбасу, масло и хлеб. Мы обсудили наше положение.

Кругленький Бернхард Зоммер рассказал нам последние новости, переданные по Би-би-си: «В Сталинграде дело явно движется к концу». Островски вскочил, и лицо его засияло. Вот вам и первое доказательство, что дела у Гитлера идут под гору. А уж коли камень покатился с горы, то...

— Не радуйся раньше времени, Отто, — заметил старый Зоммер, — нам еще много придется пережить.

— Нет, нет, скоро все рухнет, словно карточный домик.

Островски стоял на своем. Офицеры так просто не смиряются с поражением, потому что они не отвечают за приказы этого психопата! Старый Зоммер знал, что спорить с Островски не имеет смысла, ибо тот был преисполнен несокрушимого оптимизма.

Я продолжала общаться с Гансом Розенталем, он часто звонил мне по Гретиному телефону, либо мы встречались с ним в мастерской. Однажды мы стояли, обнявшись перед входом в контору, как вдруг вошла представительница большой компании по прокату кинофильмов.

— Ах, какая прелесть! — воскликнула она. — Вы, конечно, господин Дерезевски?

Ганс приветливо кивнул даме, судорожно прикрывая портфелем желтую звезду на своем пальто.

— От души поздравляю со вступлением в брак! — не унималась дама. — Приходите как-нибудь к нам со своей молодой женой! — И она бросила на меня приветливый взгляд. — Ах, совсем забыла: вы случайно не хотите побывать на премьере нашего фильма?

Конечно же мы хотели.

— Тогда приходите послезавтра. Я оставлю на ваше имя билеты в кассе Адмиральского дворца.

Дама сердечно с нами попрощалась, заверив еще раз, до чего она будет рада увидеть у себя на просмотре чету молодых.

— Сегодня, увы, так мало причин для радости!

— Ну, что будем делать? — спросил меня Ганс, когда она ушла.

— Идти, — ответила я, — но, конечно, без звезды.

Странное мы испытали чувство, войдя в Адмиральский дворец. Мы там никого не знали. Дама очень приветливо с нами поздоровалась. Мы тихонько сели на отведенные нам места. Вокруг нас были сплошь беззаботные люди, которые весело болтали о всяких пустяках. Когда в зале погас свет и начался фильм, мы с облегчением вздохнули. А показывали нам легкий, я бы даже сказала пустой фильм без всяких проблем. Народ следовало развлекать, чтоб он не думал о том, что происходит вокруг, и вообще ни о чем не думал.

«Ах, какой прелестный фильм! Ах, моя дорогая, как вы дивно играли!» — шелестели голоса вокруг нас, когда публику по окончании просмотра начали обносить шампанским. Разговоры шли о новых планах, о лыжных прогулках, о поездках в Италию и в Париж. Казалось, будто для этих людей война вообще не существует. Их беззаботность вызывала у меня зависть. Дамы были роскошно одеты, они имели все, что им хотелось. Из оккупированных областей солдаты тащили шелковые чулки, ткани, меха, обувь. Я стеснялась своего убогого платьишка, которое мне справили еще перед началом войны.

— Мне Икс на днях привез красное вино из Парижа, ну, доложу я вам, такого мне еще пить не доводилось... Да, уж эти французы, они умеют жить. — И маленький толстячок закатил глаза от восторга.

Мы с Гансом поспешили уйти. Мы заглянули в другой мир, который существовал совсем рядом с нами. Люди, живущие в этом мире, так же, как и мы, говорили по-немецки. Возможно, они даже не были нацистами. Но о горе и страданиях тех, которых они хоть и отторгли от своего общества, но которые тем не менее продолжали жить рядом с ними, они совершенно не

думали — или не желали думать. И так, Ганс вернулся в свою квартиру, из которой его могли забрать в любой день, а я — в свое убежище за прилавком.

Как-то утром, когда я, по обыкновению, сидела за письменным столом в мастерской у Вейдта, зазвонил телефон.

— С вами говорят из криминальной полиции, — сказал чей-то голос.

— Слушаю вас, — робко отозвалась я.

— У вас работает некая Гертруда Дерезевски?

— Да, — ответила я с удивительным для меня самым присутствием духа. — Сейчас я свяжу вас с нашим отделом кадров. — И отключила свой аппарат.

— Али, уголовная полиция зачем-то ищет Гертруду Дерезевски.

— Срочно переключи на папочку.

Я щелкнула переключателем. Али побежала к Вейдту. Покуда Вейдт говорил с полицией, я, оцепенев от страха, стояла в дверях.

— Дерезевски? — переспросил Вейдт. — Да, она у меня работает. Как, как, ее задержали в Венгрии? — Вейдт внимательно выслушал, а потом сказал: — Раз такое дело, она меня больше не интересуется. Я перешлю вам ее трудовую книжку. Спасибо за информацию. Ой, плохо дело! — сказал Вейдт, уже обращаясь ко мне.

— Мне что, — спросила я боязливо, — уходить отсюда?

— Нет, нет, — торопливо ответил Вейдт, — вот только твоей легальной жизни пришел конец. Необходимо срочно известить больничную кассу и Управление занятости.

Разумеется, служебное удостоверение я оставила у себя, ибо оно могло мне пригодиться. Я чувствовала, что тучи сгустились над моей головой, и была очень подавлена. Али утешала меня — она и сама была в таком же положении.

Примерно 25 февраля мне позвонил Ганс: «Бога ради, не ходи завтра к Вейдту!» Я хотела узнать, в чем дело, но он не пожелал ничего объяснять. И все-таки я пообещала ему не выходить из дому.

На другое утро мы увидели, как полицейские машины носятся по улицам Берлина. Едва такая машина останавливалась перед каким-нибудь домом, как из нее выпрыгивали люди в

гражданской одежде и в форме, врываются в помещение, кого-то выводили оттуда, снова садились в машину и мчались к следующему дому. Они забирали последних евреев, которые еще оставались в Берлине, забирали из квартир, с фабрик — где найдут, оттуда и забирали. Причем в том виде, в каком застанут, — в пижаме, в рабочем халате, без пальто. Я видела этих людей из своего окна, я и по сей день вижу, как их, оцепеневших от страха, полицейские, эсэсовцы, люди в штатском заталкивают в машины.

«Живо, живо!» — подгоняли евреев. Полицейские машины принимали их в свое чрево, отъезжали, потом снова возвращались, уже пустые. Они были повсюду, эти машины. Люди останавливались посреди улицы, перешептывались. Потом торопливо расходились в разные стороны, спешили под надежную сень своего дома. И оттуда, из-за занавесок, продолжали украдкой глядеть на улицу, наблюдая за происходящим.

Мы с матерью словно оцепенели. Где сейчас Ганс? Где мои друзья из мастерской? Представить себе невозможно, что в Берлине больше не будет евреев.

«Ради Бога, не выходите из дому!» — зывала Грета. Мы сидели в квартире. Я плакала. Мать почти ничего не говорила. Грета и Островски молчали. Да и что они могли сказать? Только один раз у Греты вырвалось: «Вот свиньи!» И с этими словами она выбежала из комнаты.

«Операция» продолжалась несколько дней. Больше не осталось никого. Мы не услышали ни единого крика, не увидели никакого протеста. В понедельник я опять пошла в мастерскую Вейдта. Там почти никого не было. Шаги гулко отдавались в пустых помещениях. Не было слепых рабочих, не было бухгалтера Вернера Баша, не было зрячих контролеров. Лишь несколько сотрудников-неевреев оставалось на своих местах. Слепая Шарлотта плакала: она так долго проработала с евреями в мастерской. Фриц, который до того, как поступить к Вейдту, держал «шляпный магазин», как говорят в Берлине о нищих, то и дело повторял: «Ах ты Боже мой, ах ты Боже мой, что же они с ними сделают!»

Остались только нелегалы или «улизнувшие» — Горн с семьей, слепой доктор Фрей, который тоже где-то жил на нелегальном положении, да еще Али и ее родители.

— Я разорен, — сказал Вейдт, — я просто не знаю, что будет дальше.

— Найди себе какую-нибудь другую работу, — посоветовала мне Али. — Пока Вейдт наберет новых рабочих, если он вообще кого-нибудь наберет, пройдет время. Приходи к нам, Инга, приходи, когда захочешь. Может, скоро все изменится.

Однако мы понимали, что так, как было, больше не будет никогда.

Но где Ганс? Я сотни раз задавала этот вопрос. Идти к нему я не смела. Мне оставалось только ждать. Мать снова и снова твердила об этом. Он ведь знает, где меня найти. Наконец, в первый понедельник после «операции», он позвонил мне из уличного автомата. Да, его с матерью тоже забрали — уже в третий раз. Но его опять не депортировали. Он пока останется в Берлине, на ближайшее время, во всяком случае. Я была счастлива. Но что это значит? Это значит, что ему придется жить или на Гросе-Гамбургерштрассе, или в еврейской больнице, что на Иранишештрассе. Он пока еще нужен гестапо. Он ведь снабженец и должен закупать для них разные товары, детали для прожекторов, роскошные ванны, которые никто другой в Берлине не смог бы купить, — Ганс получал их от оптовиков, которые прекрасно понимали, что от них зависит жизнь еврея Розенталя. Ганс был теперь, пожалуй, единственным человеком в Берлине, который носил звезду, если не считать тех, кто состоял в смешанном, неприлегированном браке\*.

Грета с приветливой улыбкой сказала мне: «Не горюй, я уже давно собиралась попросить тебя помочь мне в лавке». Я была ошеломлена. Как это я, еврейка, живущая на нелегальном положении, без документов, буду стоять за прилавком и как ни в чем не бывало разговаривать с немцами?

---

\* Еврейского супруга(у) из бездетного смешанного брака не подвергали депортации. Если евреем был муж, ему тоже полагалось носить звезду. Жене-еврейке — нет. Также не подвергались депортации евреи из так называемых «привилегированных браков», то есть смешанных браков при наличии детей, если только дети не воспитывались в иудейской вере.

«Ну и что тут такого? Никто не знает, кто ты есть. Ты просто моя подруга Инга. И дело с концом». Грета не видела в этом ничего сложного.

Поначалу мы работали на пару. Я должна была знать цены, знать приблизительно содержание библиотечных книг, чтобы иметь возможность рекомендовать их читателям. Я должна была научиться различать постоянных покупателей. Прежде всего это были «коллеги», торговцы из ближайших окрестностей. Они без труда получали у Греты драгоценную писчую бумагу, которой так же не хватало, как, скажем, мяса или масла. А взамен они давали Грете свои товары. Так, например, она получала сколько угодно молока. За овощи и картофель она ни разу не расплатилась ни единой маркой. Когда она звонила хозяйке мясной лавки и заказывала ей килограмм мяса, то мальчик-рассыльный, доставлявший заказ, получал от силы половину стоимости. А свою признательность Грета выражала при первом же удобном случае. Все это я усвоила очень быстро.

Далее следовала категория покупателей, которые были антинацистами. Их Грета знала с 1933 года, когда она только открыла лавку, другими словами, знала достаточно давно, чтобы понимать, у кого какие взгляды. Они часто приходили поболтать, и болтовня эта заключалась в том, что они обсуждали вчерашнюю передачу Би-би-си. Им дозволялось брать в библиотеке книги из так называемой «ядовитой кухни», то есть книги, занесенные нацистами в особый список. Речь шла о книгах еврейских, иностранных и вообще политически враждебных режиму авторов. В картотеке такие книги помечались особым словом. Те же люди получали в лавке писчую бумагу или другие редкости — ну, например, авторучки или туалетную бумагу. Для незнакомых клиентов либо для нацистов подобных ценностей никогда не имелось в продаже, а если даже имелось, то крайне мало.

Но клиентов-нацистов было совсем немного. Войдя в лавку, они в знак приветствия говорили: «Хайль Гитлер!». Я отвечала тем же, в отличие от Греты, которая всячески избегала подобного приветствия. А некоторых она даже на свой лад «воспитывала»: отвечала им «добрый день», давая понять, будто день и в самом деле до того хорош, что грех этого не замечать. Разумеется, она не осмеливалась на такие вольности, ког-



да приходили из полицейского участка или просто люди в форме. Этим она громко и четко отвечала: «Хайль Гитлер!» Знакомые же покупатели, которые находились в это время в лавке, удивленно глядели на нее, украдкой подмигивали и не обращали на вошедших ни малейшего внимания. Я попросила Грету по возможности не оставлять меня одну за прилавком. Меня не покидал страх.

«Да кому может прийти в голову, что ты еврейка?»

Грета смеялась. Уж слишком велика была наглость «улизнувшей еврейке» вот так, открыто стоять за прилавком — никто в это не поверит. Мало-помалу я успокоилась и стала для Греты настоящей помощницей.

В субботу перед Пасхой, закрывая лавку и собираясь убрать с прилавка нераспроданные пасхальные открытки, в которых покупатели могли рыться сами, я нашла чью-то сумку. Я испугалась. Бедная женщина — первое, что пришло мне в голову. Я открыла сумку. Прежде всего мне бросилось в глаза розовое удостоверение сроком на три месяца, оно давало право на покупку дополнительных бытовых товаров, в том числе и швейных принадлежностей. Там же я нашла целый комплект продовольственных карточек. Боже, какое сокровище! Но я не имею права оставить его у себя. Женщину, потерявшую сумку, звали Аманда Хойбаум\*. Ее фамилия показалась мне забавной. Потом я проглядела документы. Они вполне сгодились бы для моей матери. Я боролась с собой. Ну что мне делать? Сперва я отложила сумку в сторону и продолжила уборку, но находка не шла у меня из головы. Я опять открыла сумку и обнаружила в ней еще одно отделение, которого поначалу не заметила. Там лежал портрет Адольфа Гитлера размером с почтовую открытку. И вот в эту минуту я перестала сомневаться, хотя окончательное решение все же оставила за Гретой, тем более что она лучше знала своих покупателей. Но мы недолго совещались. Решающим аргументом стал портрет фюрера. «Тот, кто носит с собой такой портрет, показывает, что он испытывает симпатии к этому преступнику». А доктор Островски сказал, что Аманда Хойбаум наверняка получит новые карточки, как только доложит об их потере.

---

\* Хойбаум — слега, которой перетягивают воз сена (нем.).

«А если и не получит, я это как-нибудь переживу», — решительно заявила Грета. Мы ликовали. Чего только нельзя было купить на эти талоны! Мы внесли свой вклад в хозяйство, мы наконец перестали быть только берущими. А матери пришлось вытерпеть немало насмешек за то время, пока она ходила с документами Аманды Хойбаум.

Поначалу все шло хорошо. Я привыкла к работе в книжном отделе. Покупатели признали меня как фройляйн Ингу, подругу Греты Зоммер. Многие даже предпочитали теперь иметь дело со мной, потому что Грета часто бывала не в духе, она с превеликим трудом управлялась с лавкой и домашним хозяйством, а угодить Островски было крайне трудно. Он требовал, к примеру, чтобы она, словно по волшебству, готовила ему такие же обеды, как и в обычные времена. Он ценил хорошую жизнь и считал, что вполне ее заслуживает. Грета была человеком изобретательным, и каким-то образом ей удавалось кормить его привычными деликатесами. В этом ей помогали не только родители, которые держали продовольственную лавку и давали масла, сколько она попросит. У нее служила фрау Мауш, которая, что вполне разумно, работала по соседству уборщицей в магазине оптовой торговли маслом и в мясной лавке. Оттуда она таскала всякую снедь, завернув ее в тряпку, после чего продавала украденное по ценам черного рынка либо меняла масло на кофе, кофе на мясо, на мыло и тому подобное. Грета была до такой степени увлечена этим обменом, что больше ни о чем и думать не могла. Добавьте к этому вахтершу из ее дома, фрау Зелль, чей муж привозил из оккупированных областей вещи, которые в Германии уже давным-давно нельзя было раздобыть легальным путем. И всех их Грета привлекла к обеспечению своего хозяйства.

Однажды к нам в гости заявилась чета Гарнов. Паулю и «матушке» приходилось очень тяжело с тех пор, как в 1933 году Пауль потерял свой пост профсоюзного деятеля. Он был уже не молод, и его терзала мысль, что теперь он, как рабочий, помогает Гитлеру затянуть войну. Для него, убежденного антинациста, это было своего рода преступлением. Жена его, высокая и статная, как и сам Пауль, начала прихварывать. Оба они и в старости вели себя словно два голубка. Детей у них не было, и все свои чувства они дарили друг другу. У обоих были добрые

голубые глаза, которые наполнялись слезами всякий раз, когда они думали о своем положении. Лица у них были в глубоких морщинах, и морщины эти начинали двигаться, едва Гарны разволнуются. А волновала их одна тема: нацизм. Когда мы вошли в комнату, матушка Гарн встретила нас словами:

— Дойчкроны, теперь вы могли бы на время перебраться к нам. Мы тут как раз все обсудили.

А Пауль Гарн при этом одобритительно кивал.

Грета добавила:

— А вообще-то очень даже неплохо, если вы хоть какое-то время побудете где-нибудь еще. Когда слишком долго живешь в одном и том же месте, это непременно бросается в глаза. А Инга пусть по-прежнему приходит на работу.

Возражать мы не стали. Да и что тут возразишь? Моя мать произнесла фразу, привычную для воспитанной женщины:

— А мы вам не помешаем?

— Ну, это, конечно, не санаторий, — улыбнулась фрау Гарн. — Вы ведь знаете, у нас всего две комнаты. А вы сможете спать на кухне.

После чего, оставив почти все наше добро у Греты, мы переехали к Гарнам, на север Берлина, Оливаерштрассе, 3, — в один из тех рабочих поселков, которые построили до прихода Гитлера к власти. Длинные ряды домов, светлых и опрятных, с маленькими комнатками, ванной и уборной — несомненный прогресс для конца двадцатых годов, когда их начали строить как первый образец здорового жилья для рабочих.

Кухня у них была теплая, фрау Гарн стряпала на плите, которую топили углем. Зимой старики по большей части сидели на кухне, а гостиная предназначалась для гостей и для летних месяцев. Кушетка под кухонной полкой, на которой рядком стояли надраенные до блеска кастрюли, была отличным местом для ночлега. Я давно уже привыкла спать в одной постели с матерью. Она вообще не покидала дом, сидела безвыходно у Гарнов, вязала, шила или помогала по хозяйству. Ей приходилось очень трудно, тем более что конца этому положению не предвиделось. Мать крайне была этим угнетена. Хорошо мне говорить, жаловалась она. Я-то хожу на работу, а она целый день сидит словно взаперти в крохотной квартирке. Грета пеклась о том, чтобы Гарнам не пришлось из-за нас голодать. У матери

все больше расшатывались нервы. Когда однажды вечером я вышла погулять с ней, она рассказала мне, что к ним заглянула соседка, и фрау Гарн не смогла ее задержать.

— Ах, у вас гости? — удивленно воскликнула соседка. Снова прозвучал этот проклятый вопрос.

— Поди догадайся, что она подумала, — сказала фрау Гарн, когда соседка ушла, — у нее было такое странное выражение лица.

— Придется нам и отсюда выбираться, — испуганно сказала мать. — А куда, спрашивается? Ведь не можем же мы вернуться к Грете.

Мне хотелось сходить к Вейдту. А вдруг он знает, как нам теперь быть. Но у Вейдта я застала всех в глубокой печали. Семейство Лихтов, Али и ее родители, все это время жили на собственном складе на Неандерштрассе. Куча веников и щеток с этикетками не вызвала подозрений. Словом, укрытие было отменное. Благодаря Отто Вейдту Лихты не знали и забот с едой. Но отец Али тяжело заболел. Вызвать к нему врача было нельзя. Даже Вейдт и тот не знал ни одного, на которого можно было положиться.

«А что, если он не выживет?» Али высказала эту мысль вслух. Вейдт был очень встревожен. В нем совсем не осталось прежней удачи. К этому добавились и серьезные финансовые проблемы. Он с великим трудом сумел отыскать несколько слепых, но их едва хватало на половину мастерской. А без выпуска продукции он не мог добывать еду. И еще он рисковал лишиться военных заказов. «Если в течение такого-то и такого-то срока вы не произведете поставки того-то и того-то...» — к нему уже не раз приходили такие письма. Раньше Вейдт в подобном случае поставлял хотя бы часть продукции, чтобы не разгневать заказчика. Теперь он и этого не мог. Я не посмела заговорить с ним о своих тревогах и ушла. В лавке у Греты я быстро забывала про эти тревоги. На мне лежало слишком много дел — например, я приводила в порядок картотеку клиентов, чего Грета уже давным-давно не делала.

«Подумаешь! Когда война кончится, я плюну на это заведение. Тогда мы будем заниматься исключительно политикой, — говорила она. — Долго это не протянется».

Для меня работа была больше чем препровождение времени. Грета все чаще оставляла меня в лавке одну, а потом и вообще передоверила мне ключи. Поначалу я каждый вечер их возвращала, чтобы снова взять утром. Теперь и это прекратилось. Грета лишь изредка наведывалась в свою лавку, словно гость, и радовалась всему, что я делаю, как, впрочем, и выручке.

По дороге домой я всякий раз испытывала страх — а что, если сегодня нельзя будет там переночевать? Например, однажды ночью случилась воздушная тревога. «Не спускайтесь», — сказал нам Гарн. Мы умирали от страха. И не столько из-за бомб, которых в ту пору было не так уж и много, сколько при мысли, что будет с нами, если бомба попадет в дом и нас обнаружат.

И снова в нашу дверь однажды позвонили. И снова любопытная соседка протиснулась в кухню раньше, чем фрау Гарн успела задержать ее.

«Долго же у вас живут гости», — сказала она. А мы и в самом деле провели у Гарнов уже несколько недель. Едва закрыв за ней дверь, фрау Гарн с плохо скрытым страхом сказала: «Вам надо уезжать. Больше нельзя. Я очень боюсь. Вы ведь знаете, что у меня большое сердце».

Когда она говорила эти слова, в глазах у нее стояли слезы. А Пауль Гарн тот отвернулся и начал шуровать у плиты.

Мать сказала: «Ну конечно, конечно, я вас вполне понимаю... — и едва слышно добавила: — Куда ж нам теперь идти?»

Никто ей не ответил. В эту ночь мы почти не сомкнули глаз. А с утра пораньше упаковали свои скудные пожитки.

«Да не плачьте же вы, фрау Дойчкрон, мы что-нибудь придумаем», — утешала нас Грета, когда мы ей обо всем рассказали. Она стояла перед матерью, широко расставив ноги и подбоченившись. Островски же сказал: «Я поговорю с Риком. А пока вы останетесь у нас».

Грета сварила кофе, а когда мы сели за стол, не зная, что еще сказать, стукнула кулаком по столу так, что задребезжали чашки: «Да что вы думаете, в конце концов, не выставим же мы вас на улицу!»

«Спасибо, Грета, спасибо, — говорила мать сдавленным голосом, — но куда же нам деться?» Этот вопрос очень долго оставался без ответа, потому что Островски не сразу удалось отыскать Рика.

## В «БЕЗОПАСНОСТИ»

«Моего мужа убили нацисты!» Лиза Холлендер произнесла это четко и энергично. Когда мужа забрали, она несколько месяцев тщетно пыталась узнать хоть что-нибудь о его судьбе. И всюду ее отсылали прочь, так и не дав ответа. Пока однажды она не получила из одного концлагеря бандероль, в которой лежали испачканные кровью брюки мужа и сообщение, что ее муж умер от разрыва сердца. Лиза Холлендер, сестра нашей приятельницы и помощницы Женни Рик, этой фразой объяснила свою готовность немедленно принять нас к себе. Привел нас к ней Рик. Лиза не колебалась ни единой секунды. Напротив, она была рада, что может нам помочь. «Для меня это внутренняя потребность», — с особым выражением сказала эта белокурая женщина. Она много лет была замужем за евреем Паулем Холлендером, который работал во внешней торговле. Он женился на Лизе, когда ей приходилось очень тяжело: у нее был внебрачный ребенок, что в те времена считалось для молодой девушки страшным позором. И она этого никогда не забывала. Состоятельный муж выполнял каждое ее желание и баловал сверх всякой меры. Когда однажды она надумала изучать французский, Пауль Холлендер пригласил в качестве учителя моего отца. Впрочем, это было много лет назад. Но однажды пришли наци и увели с собой Пауля Холлендера. В те времена не стоило никакого труда обвинить еврейского коммерсанта в нарушении нацистского законодательства.

«Можете оставаться у меня сколько пожелаете, — сказала тетя Лиза (как я скоро начала ее называть) таким тоном, будто речь шла о приглашении к чаю, — места у меня достаточно».

Нам все это показалось неправдоподобным. Эту женщину словно ничуть не волновала опасность, которой мы ее подвергаем. Я и мать наперебой благодарили ее. Мне даже отвели отдельную маленькую комнату, чего я еще никогда в жизни не имела. А моя мать спала на кушетке в гостиной. Дом на Зексшештрассе, 26, где жила тетя Лиза, находился в так называемом «Саду роз», в квартале из множества домов, расположенных вокруг большого розария. Управляющий кварталом проживал в одном из этих домов, что было весьма кстати, потому что нас едва ли мог кто-нибудь углядеть. Тетя Лиза не просто казалась очень решительным человеком, она была такой на самом деле; судя по всему, ее ничто не могло вывести из равновесия. Ей было совершенно безразлично, что соседи могут подсматривать за ней, что ответственный по кварталу может задать какие-то вопросы.

«Терять мне больше нечего, — говорила она, — жизнь они у меня уже отняли». Когда представители НСБ\* собирали пожертвования, она без долгих разговоров захлопывала дверь перед их носом. Однажды моя мать заметила, что, учитывая наше пребывание у нее, было бы, может, разумнее внести свою лепту, но Лиза страшно возмутилась: «Ничего они от меня не получат — и баста!»

Нам и впрямь хорошо у ней жилось. Деньги, какие у нас были, мы отдали ей, и хозяйство у нас было общее. Грета, у которой я обедала, начала платить мне за работу, причем чаще маслом и другими дефицитными продуктами по ценам черного рынка. Я тоже — разумеется, с ее согласия — начала добывать овощи и молоко у соседних торговцев.

«Я не могу уйти из лавки, ты не принесешь мне немного молока?» — говорила я девушке из молочного магазинчика по соседству, когда она приходила ко мне за покупками. И через несколько минут она приносила молоко.

Фрау Мауш, которая частенько заходила к нам в лавку поболтать, порой бросала на прилавок круг черной кровяной колбасы.

---

\* НСБ — Национал-социалистская благотворительная организация.

«Ты это любишь?» «Это» шло за половину талона, потому что сама она получала колбасу в подарок от жены мясника, у которой убиралась. Втихаря она умела «организовать» при уборке столько продуктов, что вполне могла пренебречь колбасой. Девушка из зеленой лавки приносила мне всевозможные овощи, вообще не требуя за это ни единого талона. Словом, в то время нам жилось сравнительно хорошо. Однако я со страхом видела, что наша наличность постепенно тает. Мы платили тете Лизе за прожитые, а вдобавок время от времени должны были кое-что покупать по ценам черного рынка. Зарабатывать больше, чем давала мне Грета, я не могла. Надо было и матери найти какую-нибудь работу. Ганс Розенталь сообразил, как это сделать. Он отвел мою мать в типографию Теодора Гёрнера, с которым у него были дела, как и с Вейдтом. Гёрнер решительно отвергал Гитлера и нацизм. Матери он сказал, что даже не желает знать, кто она есть. Пусть только она скажет, как ее называть. Она может работать у него в наборном цеху. Мать выбрала фамилию Рихтер. Гёрнер добавил: «В начале каждого месяца я буду потихоньку давать вам талоны, которые с вас будут брать за еду в нашей столовой».

Моя мать получала жалованье работницы, и мы были очень довольны. Среди сослуживцев она выдавала себя за вдову советника по образованию, и за ней даже начал ухаживать старый вдовец Крузе.

Фирма Гёрнера печатала набивку на тканях и считалась предприятием оборонного значения. Рабочие цеха на ушко сообщили ей, что Гёрнер — старый коммунист. Но никого из них это не смущало. Большинство даже и не пытались скрывать свою неприязнь к Гитлеру. Только старый господин Крузе нас предостерегал. Он хоть и сам не любил нацистов, но ведь другие вряд ли лучше. Раньше Крузе часто ходил в море и повидал на своем веку и англичан, и американцев.

Нашу тогдашнюю жизнь можно было назвать почти нормальной. У нас обеих были и работа и жилье. Питались мы, в конце концов, не хуже других немцев и так же, как и они, ждали окончания войны. Каждый вечер мы крутили ручку настройки нашего приемника, пытаясь внушить себе, что понимаем по-голландски, когда надо было разобрать какое-нибудь сообщение. Некоторые дикторы Би-би-си стали нашими куми-



рами. И мы не жалели бранных слов, когда глушили именно эти передачи. Англичане снова и снова поражали нас точным знанием того, что происходит в Третьем рейхе. Поминали они и Освенцим. Мы о нем слышали, но никогда об этом не разговаривали. Подобные сообщения повергали нас в ужас.

Тетя Лиза ничего не имела против того, что ко мне приходит Ганс. Звезду он, конечно, при этом прятал. Вместе с матерью Ганс жил на Ирранишештрассе, в бывшей еврейской клинике, где еще оставалось несколько врачей-евреев. Гестапо использовало клинику как тюрьму для нетранспортабельных евреев, которым разрешалось жить там вплоть до выздоровления. Если хватали людей, живущих нелегально, вроде нас, то их депортировали как раз оттуда. Ганс все время напоминал о том, что меня могут арестовать. Гестапо даже завело специальную «картотеку беглецов». Отловить их гестапо помогали еврейские шпики. Причем шпики эти тоже жили на Ирранишештрассе. Ганс рассказывал об одной молоденькой девушке, которая, ничего не подозревая, договорилась с приятелем встретиться на станции Гезундбруннен. Во время предыдущей встречи она призналась ему, что живет на нелегальном положении. Когда она появилась на платформе, то увидела своего так называемого приятеля в обществе двух гестаповцев. Далее она действовала с молниеносной быстротой: тут же спрыгнула на рельсы, а к станции как раз подходила электричка. По словам Ганса, которого вызвали, чтобы на санитарной машине отвезти ее в клинику, колеса отрезали ей только пятку. Ганс с восхищением говорил об этой девушке: до того как потерять сознание, уже в машине, она разорвала в клочки продовольственные карточки, переданные ей арийскими друзьями, чтобы не подвести их. Даже гестаповцы были потрясены такой силой воли и не стали ей мешать. Как я узнала уже после войны, эта девушка училась в моей школе.

Еще Ганс рассказывал про двух мальчиков, которых не депортировали, потому что их отец был женат на христианке и воспитал их не в еврейской вере. Эти мальчики, одному семнадцать, другому девять, остались одни на всем свете. Мать у них умерла, бабушка с бабушкой тоже. Отец, как и все остальные родственники-евреи, был в концлагере. Вечно голодные мальчики начали просить милостыню. Совершенно случайно я спросила у Ганса их фамилию. «Филипсборны», — ответил

Ганс, и мы обе, мать и я, так и подскочили. Это оказались сыновья моего двоюродного брата Вилли, которого в 1938 году отправили в концлагерь. Чтобы уберечь детей, их матери пришлось подать на развод. После ее смерти мальчиков поместили в еврейский приют. Мы лихорадочно размышляли, как им помочь, но в нашем положении это едва ли было возможно.

Однажды Ганс пришел совершенно подавленный и сказал: «Их больше нет, всех, гестапо «очистило» мастерскую слепых Вейдта».

Старый Горн, специалист по щеткам, однажды встретил приятеля-еврея и рассказал ему, что живет на нелегальном положении в мастерской. Через несколько дней к Вейдту нагрянули гестаповцы и, не обращая внимания на его протесты, прошли в конец мастерской, открыли шкаф, отодвинули висевшую там одежду и вытащили из убежища все семейство Горнов. А тем временем другие гестаповцы забрали из подсобного склада на Неандерштрассе семейство Лихтов. Если верить сведениям, которые сейчас уже нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, Али не присутствовала при том, как уводили ее родителей. И гестапо предложило Отто Вейдту сделку: если Али явится добровольно, все семейство отправят в Терезиенштадт. Это считалось поблажкой, которую гестапо предоставляло только тем, кого можно было считать «достойными евреями». В противном случае ее родителей прямиком отправили бы в Освенцим. Поверив этому обещанию, Вейдт больше не отговаривал Али отправиться вместе с родителями. О том, что из Терезиенштадта ведет прямая дорога в Освенцим, мы в то время еще не подозревали и узнали лишь позже, когда получили от Али почтовую открытку, которую она выбросила из окна вагона по пути из Терезиенштадта в Освенцим и которая действительно пришла по адресу. Какой-то незнакомый человек выполнил просьбу, написанную на открытке, и приклеил к ней марку.

Когда спустя несколько дней после визита гестаповцев я пришла в мастерскую к Вейдту, передо мной был сломленный, одинокий, старый человек. От прежнего удалца ничего не осталось. Вейдт сидел и тупо смотрел перед собой.

«Ты теперь единственная», — сказал он и положил свою большую руку мне на плечо. Потом встал, снял с вешалки совершенно новое пальто и заставил меня его надеть.

«Возьми его, возьми его!» Вообще-то он заказывал это пальто для Али, но не успел получить вовремя. Я была очень благодарна Вейдту, потому что одежда моя совсем износилась.

«Отдашь его Али, когда она вернется, — сказал Вейдт и, заметив мое сомнение, добавил: — А я поеду в Освенцим, я должен что-то предпринять, я не могу допустить, чтобы она там погибла».

Мне показалось, что он сказал это не столько из желания что-то сделать, сколько от отчаяния. Но я ошиблась.

События последних дней легли на нас тяжким грузом. Мы снова и снова перебирали в памяти судьбы тех, кого схватило гестапо.

Квартира тети Лизы была для нас просто идеальной. Соседи хоть и здоровались друг с другом, но почти не общались. Налеты тогда еще были вполне безобидные и почти не приносили разрушений. Мы жили на втором этаже и поэтому подвергались меньшей опасности, чем жители пятого. Была лишь ничтожная вероятность, что полицейский патруль заглянет в лавку к Грете или в типографию Гёрнера. Однако напряжение не оставляло нас ни на минуту.

23 августа 1943 года мы отпраздновали мой день рождения, распив бутылку вина, которую «наколдовала» где-то тетя Лиза. После чего, очень довольные, рано легли спать. Проснувшись я от страшного грохота. Оконная рама вместе с осколками стекла упала на мою кровать. А за окном бушевал ад. Мы явно проспали сирену, извещавшую о предстоящем налете. На этот раз англичане ударили по Берлину как следует. Я соскочила с постели и попыталась одеться в темноте, которую разрезали молнии. Весь дом раскачивался, словно корабль в бурю. Чтобы не упасть, нам пришлось хвататься за стены и дверные косяки. Тетя Лиза сказала, что стоит все-таки рискнуть и спуститься на первый этаж, а потом и в подвал. Но это было невозможно. Навстречу нам падали окна, двери, куски штукатурки. Вокруг все грохотало, свистело, завывало. Место около стены, в темном коридоре без окон, показалось нам более надежным.

Тетя Лиза была глубоко убеждена, что все эти бомбы предназначались Верховному командованию вермахта и штаб-квартире СС неподалеку от Фербелинерплац. Но она не знала, что

это лишь первый налет из множества тех, что нам предстояло пережить. Через двадцать минут все кончилось.

Нам повезло. У нас были только разбиты стекла да изодраны в клочья светомаскировочные шторы. Сквозь пустые проемы окон мы смотрели на окрашенное красным заревом небо над Берлином. Пламя вспыхивало то тут, то там, словно фейерверк, рассыпалось на миллион искр, а между ними плавали густые черные облака дыма. Воздух стал густым от запаха гари. Люди кричали, пожарные машины мчались сквозь ночь. Мы радовались тому, что нам повезло, и тому, что англичане наконец-то показали свою силу. Потом начали не жалея сил убирать комнату. Мы выметали, протирали, приколачивали и все время радовались. Несмотря на пережитый страх, мы были счастливы.

«Ради Бога, — умоляла мать, — не вздумайте завтра выказывать свою радость». Уснуть в эту ночь мы так и не смогли. Мы слышали завывание пламени вдаль, грохот обрушивающихся этажей, но лишь утром смогли понять весь масштаб разрушений. А они были значительны. Оказались разрушены целые участки железнодорожных путей, торчали искореженные рельсы, перегоны между станциями зияли кратерами, трамвайные провода были порваны.

И все же, несмотря на налеты, я должна была ходить на работу.

С тех пор я не могла спокойно ложиться спать. Нам было совершенно ясно, что теперь во время налетов оставаться в квартире будет невозможно. Однако тетя Лиза нашла выход. Она и без того не любила сидеть в бомбоубежище. Ее пугала мысль, что у нее над головой целый дом, поэтому она предпочла прятаться в щели, вырытой по соседству на Фербелинерплац. Там ни у кого не спрашивали документы, стало быть, это укрытие годилось и нам. Но при первом же сигнале тревоги мы должны были опрометью бежать из квартиры, чтобы вовремя оказаться на месте.

Мы упаковали маленький чемодан, сложив в него вещи, которые казались нам особенно нужными, и поставили его в передней. Признаюсь честно: с наступлением сумерек на меня напал страх. Я никак не могла оправиться от шока той ночи, когда нас разбудил адский шум рвущихся бомб. Мать смеялась

надо мной. «В нас бомбы не попадут», — твердо говорила она. Хорошо, что хоть она во что-то верила. Я же верить не могла и потому очень боялась. Каждый вечер в одно и то же время я начинала напряженно прислушиваться, и почти каждый вечер появлялись самолеты, иногда минута в минуту как накануне. Едва слышав звук сирены, я начинала подгонять тетю Лизу и мать, которые были ужасные копуши. Опережая их, я мчалась к щели, которая, по правде говоря, не могла защитить от английских бомб. Почти каждый вечер вместе с нами сидели одни и те же люди. Они не говорили про войну, не говорили о том, что творилось в стране, они просто сидели и ждали.

«Нам еще раз повезло», — обычно говорили мы, прощаясь после отбоя.

За первым большим налетом 23 августа 1943 года поначалу были лишь небольшие бомбежки, которые выматывали нервы берлинцам. Но в конце ноября того же года англичане возобновили массированные бомбардировки.

«У меня больше ничего нет, — с этими словами 23 ноября вошла в лавку Кетхен Шварц, одна из моих покупательниц. — У меня больше нет квартиры. Ничего больше нет, да и спасти нельзя было ничего. Прямое попадание».

Кетхен Шварц была женой профессора римского права в Берлинском университете. У нее было очень красивое и очень молодое лицо. Белокурая, голубоглазая, ясные черты. В одежде и манерах — достойная простота. Сегодня она пришла в лавку, чтобы потолковать с «разумными людьми». Хоть она и не говорила, но я знала, что она каждый вечер слушает передачи Биби-си, потому что в разговоре часто повторяла их слова.

«Сколько же можно? Сколько еще?» — спрашивали фрау Штейнхаузен, фрау Визе, фрау Шварц. Мужья этих женщин были на фронте.

В тот день, когда разбомбили ее квартиру, фрау Шварц задержалась в лавке дольше обычного. Она явно хотела остаться со мной наедине.

— Я уеду в Ингольштадт, — сказала она, — в Берлине у меня больше ничего нет. По-моему, там безопасней. И у меня там живут родственники. — Потом она как-то странно замялась и вдруг сказала: — Ах, фройляйн Инга, я ведь уже хорошо знаю вас. Я знаю, как вы думаете...

Но тут в лавку снова кто-то вошел. Кетхен переждала посетителя, после чего продолжила:

— Фройляйн Инга, вы должны мне помочь!

Я удивленно посмотрела на нее.

— Если я уеду из Берлина, кое-кому придется очень плохо.

Опять молчание, словно она хотела собраться с духом. И опять ей помешала очередная покупательница. И опять Кетхен дожидалась, пока та уйдет.

— Инга, я прячу у себя еврейку. Вы не могли бы помочь ей, когда я уеду?

Кете Шварц испытующе поглядела на меня. Лицо ее выражало волнение и, может, самую малость страх.

После нескольких секунд молчания я в голос расхохоталась. Взгляд Кетхен стал удивленным и растерянным.

— Уж раз вы так откровенны со мной, я тоже должна сказать вам правду: я сама еврейка и тоже скрываюсь.

Кетхен так и села от удивления и уставилась на меня, не в силах вымолвить ни слова.

— Но, фройляйн Инга, почему же вы мне раньше этого не сказали? Почему? Я ведь тоже с удовольствием помогла бы вам.

Кетхен говорила сбивчиво. Она была очень взволнована, она даже, можно сказать, обрадовалась.

— С этого дня я вам тоже буду помогать, — решительно произнесла она. — Вам что-нибудь надо?

Я подробно рассказала, как мы живем. У нас обеих есть работа, мы зарабатываем достаточно, чтобы платить за квартиру и покупать кой-какие продукты, например свеклу и кольраби.

— А может, я помогу вам талонами на хлеб и жиры? — спросила она и решительно закончила: — Теперь вы каждый месяц будете получать от меня письмо с талонами.

— Но ведь у вас у самой их не так уж много, — возразила я.

— Ах, Инга, что вы такое говорите! А потом, это вас совершенно не касается. — И опять с недоумением взглянула на меня. — Ну почему, почему вы мне раньше ничего не сказали? Я вижу, вы мне не доверяете, — настаивала Кете Шварц.

Я объяснила ей, что мы с матерью, и те, кто помогают нам, полагают, что лучше, если о нашей тайне будет знать как можно меньше людей. Так больше оснований надеяться, что тайна останется тайной.

— Может, вы и правы, — согласилась Кете, — но дайте слово, что теперь у вас не будет от меня секретов. Когда вам будет нужно что-нибудь, я непременно помогу, если сумею. — И затем, умоляющим голосом: — Но о Лотте вы все-таки позаботьтесь, ладно?

Лотта Эйферт была высокая и темноволосая. Стыдно признаться, но я не любила ходить с ней, — по-моему, у нее был слишком еврейский вид, в том смысле, в каком это тогда себе представляли. Кете Шварц она знала очень недавно, просто общие знакомые устроили ее у Кете, когда Лотта спасалась от гестапо. А после того как квартиру Кете разбомбили, та спрятала ее у друзей. Под конец Лотта откликнулась на объявление, в котором один человек из Потсдама искал домашнюю учительницу. Она получила место и комнату в придачу, причем в Потсдаме, где пока не было бомбежек. Там она чувствовала себя в безопасности, хотя и выяснилось, что отец детишек, которым она давала уроки, состоял в СС.

## НАС РАЗБОМБИЛИ

«Не волнуйтесь, все уже кончилось!» — крикнул какой-то мужчина. Щель, в которой мы прятались, вздыбилась, словно корабль в бурю. Стоял оглушительный грохот. Бомба явно упала где-то рядом. Деревянная дверь нашего убежища хлопала под напором воздушной волны. Вспыхивали ослепительные молнии, казалось, все небо пришло в движение. Над черными силуэтами домов пылало желто-красное зарево, кое-где разрываемое клубами черного дыма. Я сидела, тесно прижавшись к матери, и мне чудилось, будто я слышу, как падают бомбы. Но только единственная, которую мы даже и не услышали, упала где-то рядом.

«Попадают те, которых не слышно», — объяснил нам один солдат. Он приехал на побывку с фронта и признался, что ночью под бомбами в Берлине куда страшней, чем днем на передовой.

Когда бомбовый град начал стихать, кое-кто выглянул из щели. То, что они рассказали, звучало ужасно: вокруг все горело. Наконец дали отбой, и мы направились к нашему дому, уверенные, что он не пострадал. Не без удовольствия мы отметили, что штаб вермахта и здания СС на Фербелинерплац горят ярким пламенем. А потом с возмущением увидели, что там орудуют пожарные, тогда как вокруг догорают жилые дома. Разумеется, пожарных команд, которые оставались в Берлине, не хватало, чтобы гасить все пожары от английских зажигалок. Но вот то, что этих, и без того немногочисленных пожарных бросили спасать эсэсовские бумаги, нас возмутило — причем не только нас. Кто-то выругался. Уж в такие-то минуты берлинцам был неведом страх. Подойдя к нашему дому, мы с ужасом увидели, что горит пятый этаж.



«Это зажигалка, — сказали соседи, — ее можно погасить. Только воды у нас нет». Смешно было пытаться погасить пожар тем небольшим количеством воды из ведра, стоявшего перед дверью каждой квартиры возле мешка с песком.

— Что ж, будем стоять и смотреть, как догорает наш дом, — с горечью говорили жильцы.

— Спасайте все, что можно спасти, — советовали люди друг другу.

Я со всех ног помчалась к штабу вермахта и увидела, как солдаты вытаскивают эсэсовские бумаги.

— А может, важнее помочь спасти наши последние пожитки? — спросила я вызывающим тоном.

— Пойди с ней, — сказал солдат, который, вероятно, здесь был за старшего.

Со мной пошел немец явно иностранного происхождения, из Венгрии, как он мне сообщил по дороге. Я попросила его зайти вместе со мной в квартиру тети Лизы. Мы хотели вынести на улицу самые ценные вещи. Лучше всего мелкую мебель, посоветовали нам соседи, она всегда пригодится. Следуя их примеру, мы выставили вещи прямо на проезжую часть. Моросил мелкий дождик, но мы его почти не замечали, вытаскивая все подряд. Время от времени солдат пожимал мне руку. Он попросил меня встретиться с ним завтра вечером. Я пообещала, но сказала, что сперва надо спасти мебель. Между тем огонь запылал повсюду. Начали рушиться горящие балки. Заходить в дом стало опасно. Молодой солдат успел еще вынести кресло тети Лизы. Когда огонь пробился сквозь потолок в ее квартире, мы беспомощно застыли. Было это 30 января 1944 года. Три часа утра, холод. Моя мать надумала развернуть матрас, чтобы сесть на него, но оттуда выскочил язык пламени, который лишь с большим трудом удалось погасить. Наверное, фосфор воспламенился от соприкосновения с воздухом. Мы стояли на улице, ярко освещенной пожарами, и не знали, как нам быть.

«А что мне делать со всей этой мебелью?» — вдруг спросила тетя Лиза. И тут мы поняли, что зря так старались. Фургон для перевозки тетя Лиза, конечно, не получит. А если оставить мебель на улице, она наверняка исчезнет. И соседи, с которыми мы раньше не были знакомы, тоже так думали.

«Давайте сходим в НСБ, уж они-то нам помогут». Тетя Лиза пошла со всеми, а я осталась караулить мебель. Постепенно до нас доходило сознание, что мы потеряли крышу над головой. Но до конца мы этого пока не поняли.

«Ты тоже сходи туда, — вернувшись, сказала тетя Лиза. — Там такая неразбериха, этим надо воспользоваться! — И она ехидно ухмыльнулась: — Каждому, кто говорит, что попал под бомбежку, они дают поесть и еще дают продовольственные талоны на следующую неделю».

Мы отправились немедленно, и действительно, все было так, как сказала тетя Лиза. Эллу и Ингу Рихтер включили в списки пострадавших от бомбежки из дома № 26 по Зексшештрассе. Нам дали драгоценные продовольственные талоны и посоветовали как следует позавтракать. В наскоро устроенной столовой можно было получить сколько хочешь кофе и бутербродов. Пригласили нас и пообедать, и мы воспользовались этим приглашением. Давно уже мы так хорошо не ели. Как пострадавшим от бомбежки, нам выдали вещи, которых нигде нельзя было раздобыть.

«Они просто нас боятся, — шепнул кто-то. — В Гамбурге пострадавшие устроили бунт против властей».

А с мебелью, стоявшей на улице, в партийном центре не знали, что делать. «Да наверняка ее никто не тронет», — утешали нас. Вот, собственно, и все.

С утра пораньше к нам заявился Вальтер Рик. Он услышал о разрушениях вокруг Фербелинерплац. Фрау Женни Рик уехала с дочерью в Баварию, а Вальтер Рик, которому служба не позволяла покинуть Берлин, нашел прибежище в рабочем поселке под Потсдамом. Этот поселок под названием «Свой дом» был построен для рабочих неподалеку от шоссе Потсдам — Ребрюке. В основном там стояли домики на одну семью с маленьким огородом. Папаша Хенце, который предоставил семейству Риков жилье, служил в финансовом ведомстве. С 1933 года его ни разу не повысили в должности, потому что он не пожелал вступить в партию.

«На нет и суда нет, — сказал этот человек, который хоть и не имел отношения к политике, зато имел совесть. — Все лучше, чем быть заодно с преступниками».

Когда дом Риков в Берлине разбомбили, Хенце поселил их в маленькой квартирке в соседнем доме. Квартира эта принадлежала его замужней дочери. А поскольку ее муж, солдат, счи-

тался пропавшим без вести, ей не нужно было теперь столько места. Вместе с Риком перебралась в Потсдам и его жиличка Шарлотхен, молодая киноактриса.

Увидев, что у нас произошло, Рик сказал:

— Для начала вы все поедете в Потсдам. Вам надо как следует выспаться, а потом посмотрим.

— А как же мебель?

Он только отмахнулся, и тогда тетя Лиза решительно сказала:

— Пошли!

Мы были настолько измучены, что уснули прямо в электричке. На волосах у нас лежал толстый черный слой копоти, лица были серые от пыли, а платья в мокрых пятнах и дырках от искр. Все пропахло дымом. Рик устроил нас в квартирке, а сам пошел в мансарду, где жила Шарлотхен. Мы слишком устали, чтобы обращать на это внимание.

Понадобилось несколько дней, прежде чем мы как-то пришли в себя. Оставаться в этой квартире мы не могли — это было совершенно ясно. Рик считал, что мы смело можем хлопотать о жилье в поселке. Нас никто ни в чем не заподозрит, даже если мы не станем докладывать в полицию. Никто из берлинцев этого не делал, чтобы не терять право на дополнительное снабжение, которое полагалось только жителям городов, подвергавшихся бомбардировке.

С помощью Хенце «Рихтеры», как нас все теперь называли, получили в распоряжение небольшой домик по Равенсбергвег, 4, принадлежавший некоей фрау Фабиг. В свое время этот домик был козым хлевом, который соединили с прачечной.

— Ну, если вы думаете, что сможете там жить... — Седая женщина с натруженными руками и грубоватым лицом приветливо улыбнулась.

— Лучше уж в квартире без удобств, чем в Берлине...

— Я вам верю, — сказала фрау Фабиг, — мы часто видим, как горит Берлин.

Мы ударили по рукам. Домик был выстроен очень основательно, из камня, с цементным полом и надежной крышей, маленьким окошком и деревянными дверьми. Отопления не было. На плите из красного кирпича, где прежде стоял медный таз для умывания, мы могли стряпать и надеялись, что она будет давать хоть немножко тепла. Собственно, хлев служил нам

спальной. Доброжелательные соседи по просьбе фрау Фабиг натаскали нам, как пострадавшим от бомбежки, много старой мебели. На наш взгляд, у нас получилось отменное убежище: поскольку козий хлев не считался пригодным для жилья, его не внесли в списки жилищного управления.

Фрау Фабиг, вдова строительного рабочего, разумеется, не могла догадаться, кому она предоставила убежище. Мы платили ей самую малость и часто заходили к ней на огонек — поиграть в карты или просто поболтать.

Моя мать, как уже было не раз, выдавала себя за вдову советника по образованию. Скоро мы прослыли во всем поселке людьми на диво работающими. Каждое утро мы уезжали в Берлин на работу. И казалось, что у нас все в полном порядке. То, что мы привозили продукты и даже уголь, который я с риском для жизни таскала из подвалов разрушенных домов, никого не удивляло: все считали, что мы зарегистрированы в Берлине. В ближнем лесочке поселка «Свой дом» мы добывали дрова. Ветки были еще зеленые и горели плохо. Куда важней оказались грибы, которые осенью стали для нас основным продуктом питания. Вскоре мы заделались специалистами по грибным блюдам и готовили изысканные обеды. Жаль, что грибной сезон быстро кончился. Прогуляться по лесу просто так и ничего не искать... Эта мечта казалась в ту пору несбыточной.

Иногда мы вставали среди ночи, чтобы из своего надежного приюта посмотреть на Берлин, подожженный английскими бомбами. Налеты происходили все чаще. Они приносили ужасные разрушения. Целые кварталы обратились в руины. Люди боялись ночей, но духом пока не падали. Ненависть к вражеским самолетам все росла, потому что произведенные ими разрушения казались совершенно бессмысленными. «Бомбили бы военные объекты, зачем же бросать бомбы на жилые кварталы...» — часто слышали мы.

Грета и Островски уехали из Берлина. Их дом тоже разбомбили. Теперь они жили в лужицком городке Калау, что в нескольких часах езды от Берлина. Раз в неделю они заходили в лавку навестить меня, проверяли кассу, радовались, что все сходится, после чего уезжали к себе, где пока еще было спокойно.

«Недолго осталось ждать...» — эту фразу повторяли так часто, что я больше не могла ее слышать. В Гретиной лавке я к то-

му времени стала вполне самостоятельной фигурой. Постепенно наладила контакты с торговцами по соседству. Кроме того, я начала добывать товар, чего давно не делалось, потому что Грету лавка больше не интересовала. Даже если б я стала продавать почтовую бумагу самого низкого сорта, покупатели все равно бы заходили.

Однажды ко мне неожиданно пришел Ганс. Мы теперь редко виделись. «Выход в свет» ему разрешали, лишь когда требовалось раздобыть что-либо для гестапо. Это, собственно, и было его главной задачей.

— Большой привет от Вальтера Скольны, — сказал он.

Я все сразу поняла. Скольны, как и я, жил на нелегальном положении, и теперь гестапо его схватило. А выдал Вальтера шпик-еврей. Но Ганс не дал мне времени на размышление об этой подлости.

— Гляди, вот ключи от квартиры, где жил Вальтер. Постарайся до прихода гестапо вынести оттуда товар для черного рынка.

У Вальтера не было друзей, которые могли бы его спрятать. И он попытался решить эту проблему с помощью денег, для чего ему и понадобился черный рынок. Какое-то время все шло хорошо. Квартирные хозяйки не интересовались подробностями, если им хорошо платили, да и платил-то такой интересный юноша. Вальтер заключил сделку с одним человеком, которому вполне доверял, хотя знал его плохо. А на другой день этот человек явился к месту встречи вместе с гестаповцами. Вальтер пытался бежать, но его ранили в ногу. Теперь же он опасался, что гестапо найдет у него в комнате товар для черного рынка и за это накажет особенно жестоко.

Ганс подробно описал, как отыскать комнату Вальтера, не напугав при этом хозяйку. Он торопил меня: «Пожалуйста, сделай все немедленно, не то будет поздно». От меня требовалось положить все в чемодан, который стоит там же, и отнести его к некоей фрау Грюгер, в ее пекарню на Дройзенштрассе, 10.

Однако в тот вечер я ничего сделать не могла. После работы мне надо было очень спешить, чтобы попасть в Потсдам за светом, до того как «заявятся англичане». А вот на другое утро я встала пораньше, доехала до Ленинерплац, на какой-то боковой улочке зашла в дом, очутилась перед нужной квартирой,

послушала, не доносятся ли оттуда голоса или другие звуки, осторожно отперла дверь и шмыгнула к Вальтеровой комнате — точно, как сказал мне Ганс. Когда я сунула ключ в замочную скважину, сердце стучало у меня где-то в горле. Это вполне могла быть не та дверь. Но оказалось, что именно та. Я огляделась и открыла шкафы — сало, шелковые чулки, спиртное, кофе. У меня даже голова закружилась. Вещи и продукты, которых я не видела уже много лет. Словно во хмелю, я побросала все в чемодан. Времени для размышлений у меня не было. Чемодан получился очень тяжелый, и я тащила его из последних сил. На лбу у меня выступил пот. Когда мне удалось незаметно выскользнуть из квартиры, на душе стало поспокойней. Но, выходя на улицу, я поняла, что чемодан для меня все-таки слишком тяжел. Впрочем, нести все равно надо. По счастью, Дройзенштрассе оказалась неподалеку.

В булочной за прилавком стояла женщина. Она вопросительно глянула на меня.

— Вы фрау Грюгер? — спросила я.

Маленькая женщина с очень светлыми глазами и широкими славянскими скулами подняла на меня настороженный взгляд.

— Я принесла вам привет от Вальтера, — сказала я очень медленно.

Ее взгляд стал вопросительным.

— Давно я его не видела, — осторожно начала она.

И я быстро рассказала ей обо всем, что произошло. Глаза фрау Грюгер наполнились слезами.

— Сколько раз я ему говорила: будь поосторожней, будь поосторожней. Это ж надо какое несчастье! Свиньи проклятые!

Она заплакала и начала комкать в руке носовой платок, словно наконец поймала виноватого. Потом вдруг поглядела на меня:

— А вы, собственно, кто такая?

Я все ей рассказала. Она спокойно выслушала меня и решила:

— Теперь я стану помогать вам. Вы будете у меня вместо Вальтера. — С этими словами она схватила пакет и начала без счета кидать в него булочки и пирожные. — Как только вам что-нибудь понадобится, приходите, не стесняйтесь. Придете? Обещаете? — И она снова заплакала.

Пришлось помощнику вместо нее встать за прилавок. А она затащила меня в заднюю комнату.

— Как это все ужасно! — Она снова всхлипнула и рассказала, что в пекарне у нее спрятан один друг — еврей, адвокат доктор Ганс Мюнцер. Он вообще не смеет выглянуть на улицу, боится, что берлинская военная полиция, которую жители называют «цепными собаками», спросит у него документы. Уже есть много случаев дезертирства. Фрау Грюгер то плакала, то бранилась.

— Свины, что они наделали!

Эта энергичная особа говорила о своей ненависти к нацистам совершенно без оглядки.

— Да, да, каждое утро я кладу перед дверью хлеб и булочки для военнопленных, их проводят мимо меня. Вы бы поглядели, как эти бедняги бросаются на мои булочки.

Нет, пекарше фрау Грюгер был неведом страх. Ее муж, человек тихий и робкий, совсем непохожий на жену, разделял ее взгляды.

— Да, это преступники, — сказал он медленно, но твердо.

Когда Ганс пришел снова, то сообщил, что в комнате Вальтера гестапо ничего не нашло, если не считать потрясенной хозяйки, которая понятия не имела, кому предоставила убежище. Надо полагать, гестаповцы заявили вскоре после меня. Вальтер был очень благодарен, передавал мне приветы и выражал надежду, что скоро мы увидимся.

Ход войны и впрямь подтверждал справедливость подобных надежд. Об отступлении на Восточном фронте уже давно не сообщали, как, например, раньше, говорили о падении Сталинграда, когда воздавали почести погибшим и объявляли государственный траур. Официальная пропаганда судорожно пыталась сохранить в народе веру в победу. Германия должна победить, Германия победит. «Иначе что же с нами будет?» — спрашивали некоторые из моих покупателей, которые хоть и не были нацистами, но справедливо опасались, что, если война будет проиграна, им тоже придется несладко.

Об ужасных потерях Германии на фронте или от бомбежек в тылу мы узнавали из передач английского радио. А тем временем американцы тоже начали бомбить Берлин, причем делали это днем. Возможно, американские налеты наносили боль-

ший урон, поскольку срывали работу. Часто день превращался в ночь — такой черный дым от пожаров тянулся над Берлином. Пытаясь уехать, взволнованные люди останавливали те немногие машины, у которых было разрешение на проезд по городу. Конские упряжки встречались очень редко. Как-то раз я сидела на такой вот повозке, катившей по разрушенной Фридрихштрассе. Бывшая верховая лошадь, у которой сквозь кожу проступали ребра, медленно тащила повозку. Вдруг я увидела человека, сидевшего на краю тротуара. Он был засыпан осколками кирпича и штукатуркой и обеими руками сжимал голову. Между его пальцами сочилась кровь. Он явно вылез из-под завала и нуждался в помощи. Однако никто не обращал на него внимания. Я соскочила с тротуара, а возчик придержал своего овра. Потом, хоть и без всякой охоты, он помог мне втащить этого человека в повозку.

«Теперь еще вези его в больницу», — сердито пробурчал возчик и хлестнул своего конька, который, как вдруг выяснилось, способен бежать. На обочинах сидело много людей вроде того бедняги, которого мы подобрали.

Если налеты происходили днем, я старалась успеть в один из бункеров, чьи башни, с которых зенитки стреляли по самолетам, были сделаны из бетона и потому считались очень надежными. Внутри налет почти не ощущался. Лишь чувствовались колебания этих громадин под напором воздушной волны. Что натворили бомбардировщики, мы видели только после отбоя, когда нам разрешалось вылезти. Больше всего я беспокоилась о матери, которая работала в другой части города. Позвонить удавалось не всегда, потому что телефонная сеть была частично повреждена. И тогда возникали разные слухи.

«В Веддинге они такое натворили...»; «Посмотрите, там, где горит, это ведь, наверно, Штеглиц...» Ну и так далее. Когда после очередного налета мне не удавалось узнать, как там мать, я в страхе и тревоге мчалась в Потсдам. Но вот однажды я вовсе не из-за налета считала секунды, оставшиеся до того момента, когда можно будет закрыть лавку. До Потсдама все равно надо было ехать целый час. В тот день, после обеда, мне позвонил Ганс и спросил, где моя мать. Я беззаботно ответила:

— Как обычно, у Гёрнера.

— Там что-то случилось.



— Ради Бога, что?

— Сам не знаю, — отвечал Ганс, — знаю только, что там что-то случилось.

Я пришла в ужас, и как я вытерпела до конца дня, просто не понимаю. С вокзала я помчалась к нашей улице и уже издали начала громко кричать: «Мама! Мама!» Когда она, крайне удивленная, подошла к калитке, я разразилась истерическими рыданиями. Слишком непомерным оказалось напряжение дня.

— Ты почему мне не позвонила? — с упреком спросила я.

— А откуда мне было знать, что ты об этом узнаешь? — ответила мать тоже с упреком, но предназначенным Гансу, который конечно же хотел сделать как лучше.

Итак, что же произошло? Поутру Гёрнер неожиданно вызвал мать и сказал ей: через несколько минут здесь будет гестапо. Держитесь естественно, чтобы не вызвать подозрений. Лично вас это не касается.

Не успел он договорить, как по дому начали шнырять гестаповцы. Они потребовали собрать всех сотрудников. Моя мать как ни в чем не бывало стояла среди них. Она еще думала, не сбежать ли ей через черный ход, но, по счастью, решила этого не делать. Черный ход гестаповцы перекрыли точно так же, как и парадный. Когда все собрались, один из гестаповцев сказал, что их предприятие закрывают. Потому что Гёрнер проявил себя как враг народа. Много лет назад он усыновил мальчика, наполовину еврея, а теперь вот попытался устроить этого мальчика в гимназию. Такой поступок граничит с изменой родине. И уж во всяком случае демонстрирует пренебрежение немецкими расовыми законами. Если даже Гёрнер и желает терпеть в своем доме такого выродка, из этого вовсе не следует, что он имеет право навязывать его немецкой школе и тем самым вынуждать немецких детей сидеть за одной партой с еврейским ребенком.

Самому Гёрнеру они ничего не сделали. Но его заведение закрыли. И это было ужасно, потому что мать осталась теперь без работы. Как объяснишь соседям, почему она больше не работает? В то время на всех женщин до 55 лет распространялась трудовая повинность. Мы решили поначалу говорить, что их распустили на месяц из-за нехватки сырья — объяснение в те

времена вполне правдоподобное. Порой мать ездила со мной в Берлин, чтобы таскать вместо меня уголь.

Однажды, когда мы ехали в электричке, напротив нас сел солдат. Он не сводил с меня глаз, потом нагнулся ко мне и спросил: «Скажите, вы случайно не Инга Дойчкрон?» Я с удивлением взглянула на него и ответила категорически «нет». Но я сразу узнала Гельмута Венде, бывшего зятя Женни Рик. Мать сказала: «Господин тебя с кем-то спутал?» Покуда солдат, крайне смущенный, извинялся, мы к нашему великому облегчению подъехали к большой станции, где легко было скрыться. Мы взяли свои вещи и вышли из вагона. Может, Гельмут Венде и не был нацистом, может, он был даже противником режима, но мы не могли рисковать, сказав свое настоящее имя.

Еще больше нам посчастливилось в другой раз. На остановке Цоо вошли двое мужчин. Они проследовали в конец вагона и потребовали у пассажиров предъявить документы. Нам повезло, потому что мы стояли как раз в передней части. И пока эти двое начали проверку с дальнего конца, поезд подъехал к станции Тиргартен. Он еще не успел остановиться, как мы выскочили из вагона и побежали вниз по лестнице. Мать не привыкла к таким передрягам. Она побелела как мел и начала задыхаться.

Что было делать дальше? Сразу же вернуться на платформу мы не могли, хотя другого способа добраться в Потсдам, кроме как на электричке, не существовало. Пришлось идти пешком до следующей остановки Бельвью. Дорога была трудная, вдобавок мы могли нарваться на тот же самый контроль. И все же мы зашли в вагон, хотя и не посмели сесть. На каждой остановке мы тревожно смотрели в окно, готовые соскочить в последнюю минуту. И облегченно вздохнули, когда отъехали от станции Груневальд. До следующей остановки Николазее было восемь минут езды, значит, можно и отдохнуть. Повезло нам.

## ЧЕЛОВЕЧНОЕ, СЛИШКОМ ДАЖЕ ЧЕЛОВЕЧНОЕ

В лавку вошли доктор Островски, Грета и дама, которую они представили как сестру одного из друзей Островски. Мне показалось странным, что Грета и Островски ни с того ни с сего заявили в Берлин среди недели. У меня возникло недоброе предчувствие. Островски торопливо прошел в маленькое помещение за торговым залом. Мне было велено следовать за ним. А Грета начала объяснять даме, как работает ее заведение. Островски же заговорил со мной резким тоном:

— Послушай, ты больше не можешь работать у нас. Это стало слишком опасно.

Я оцепенела. До сих пор все шло без сучка без задоринки. Я проработала у Греты без малого полтора года, продавала писчую бумагу, выдавала из библиотеки книжки, говорила «хайль Гитлер» и «добрый день». Гретина лавка очень много значила для меня. Здесь я была пристроена и могла не слоняться по улице, где меня поджидали разные опасности, полицейский контроль или шпики. Я подружилась с хозяевами соседних продовольственных лавок, и эта дружба помогала мне добывать еду. И вот всему этому пришел конец. Я словно окаменела.

— Что случилось? — с трудом произнесла я.

— Пока, слава Богу, ничего, — сурово ответил Островски, — но в любую минуту может случиться. Идут проверки.

И он объяснил мне, что эти проверки якобы касаются женщин до 55 лет, которым до сих пор удавалось избегать обязанности работать на оружейных заводах. Я была слишком потрясена, чтобы понять его объяснения. Впрочем, причины меня не интересовали. То обстоятельство, что отныне я остаюсь без работы, заслоняло все остальное.

— Что же мне теперь делать? — спросила я убитым голосом.

Я прекрасно понимала, что не смогу долго отсиживаться в козьем хлеву, не вызвав подозрений у жителей нашего поселка. И я задала этот вопрос человеку, которого до сих пор считала своим защитником. Я впервые поняла, что ему совершенно безразлична моя дальнейшая судьба. Островски объяснил мне, что война скоро кончится и он не может теперь позволить себе идти на какой бы то ни было риск, ибо должен выжить. «Это дело нескольких недель», — добавил он. На дворе была осень сорок четвертого.

— Я уже сколько раз это слышала, — впервые осмелилась возразить ему я, — до тех пор мы все передохнем!

— Ну и неблагодарная же ты особа! — вскипел Островски. — Я просто не понимаю тебя.

Затем он в очередной раз объяснил мне, что, поскольку намерен играть важную роль в будущем правительстве, ему нельзя ставить свою дальнейшую судьбу в зависимость от моей. Чуть не плача, я заверила его, что никоим образом не умаляю помощь, которую он нам до сих пор оказывал. Я просто не знаю, как быть дальше. Моя мать уже без работы, ей только и остается, что гулять в парке Сансуси, а с наступлением зимы это станет невозможным.

— Ну тогда ты будешь гулять по берегу Хафеля! — сказал Островски и громко захохотал. Его хохот прозвучал издевательски. У меня было такое чувство, словно во мне что-то надломилось. В свое время этот человек помог нам явно от чистого сердца. Для него это была единственная возможность выразить свое неприятие Гитлера. Позднее, когда поражение Гитлера уже не вызывало сомнений, он только и мог думать что о времени, которое наступит «после этого». Он даже порой спрашивал нас: «А вы не забудете после войны, что мы сделали для вас?»

И мать всякий раз клялась и божилась, что не забудет. Поскольку уже чувствовались признаки конца, ему представлялось важным лишь одно: его собственная персона.

Я взяла себя в руки, сказала коротко: «До свиданья», собрала свои вещи, в буквальном смысле слова выбежала из лавки и напрямик поехала в Потсдам. Мать уже была дома.

— Что это ты так рано? — беззаботно спросила она. — Еда еще не готова. Сегодня на обед грибы.

Для нас осень была лучшим временем года, потому что мы почти каждый день собирали грибы в ближайшем лесочке. Грибы были не только вкусные, но и питательные. А теперешняя беззаботность моей матери свидетельствовала об уверенности, которую мы успели обрести за последнее время. До сих пор, вопреки ожиданиям, все шло как нельзя лучше. Тут я заплакала и рассказала ей, что произошло.

— Островски знает, что делает, — сказала мать. Ее доверие к этому человеку оставалось безграничным. — И ты не должна быть такой неблагодарной, — выговаривала она мне, когда я усомнилась в ее словах. Я же не понимала, как он мог вот так выставить меня, даже не подумав о том, что я буду делать дальше.

— Я была для него почти дармовой подсобницей, для которой и фунт масла в месяц, по дешевке добытый им в деревне, дорогого стоил.

Мать не понимала моего возмущения.

— Ну и что? Теперь мы будем гулять в Сансуси вдвоем, — говорила она, довольная тем, что ей не придется больше ходить по парку в одиночестве. — Островски, может, прав, и через несколько недель все действительно кончится.

Теперь мы, как и каждое утро, выходили из дому, но только шли не на работу, а с книжкой в кармане отправлялись в парк Сансуси. Сперва мне нравилось гулять под старыми деревьями. Я словно попадала в другой мир. Великолепные сады с дивными цветниками выглядели ухоженными, как в былые времена. Дворец с пристройками оставался в целости и сохранности — уцелевший клочок земли в хаосе последних месяцев войны. Лишь несколько пожилых людей прогуливались, подобно нам, в тенистых аллеях, слушая птичий щебет. Когда шел дождь, мы осматривали дворец. Порой объявляли тревогу, однако нас это не пугало. Мы хоть и гуляли неподалеку от бомбоубежища, некогда служившего винным погребом для Старого Фрица\*, но

---

\* Старый Фриц — прозвище прусского короля Фридриха II Великого.

туда не спускались. В те времена мы были убеждены, что Потсдам никто не станет бомбить. А объявление тревоги говорило лишь о предстоящей бомбежке Берлина. Один раз, когда мы подошли к убежищу, я увидела группу мужчин в незнакомой мне форме. Их сопровождали два немецких солдата с винтовками через плечо. Мне стало любопытно, и я подошла ближе.

«Инга, осторожней!» — крикнула мне мать. Она уже поняла, что это пленные английские офицеры. Я подошла еще ближе; услышав, как они говорят по-английски, я забыла об опасности и заговорила с одним из них. Он вел себя осторожнее, чем я, и бросил взгляд на немецко-охранников перед тем, как сказать мне, что их содержат в лагере для военнопленных неподалеку от Сансуси. Один из немецких солдат глянул в нашу сторону, но вмешиваться не стал. Впрочем, меня это не тревожило. Я засыпала англичанина вопросами о том, когда кончится война и что будет после войны. Остальные англичане с усмешкой поглядывали на нас. Мать стояла в сторонке и отчаянно жестикулировала, ужасаясь моей неосторожности. Мой собеседник наконец понял опасность ситуации.

«Станьте поближе, я буду разговаривать со своим товарищем, чтобы ответить на ваши вопросы. А вы делайте вид, будто не слушаете», — шепнул он. Так мы и сделали. «Речь может идти лишь о нескольких месяцах», — в один голос решили оба офицера. Они отлично разбирались в военной обстановке. Под конец англичанин сказал: «Мы не должны повторить ошибки Версаля». А его собеседник добавил: «Именно это привело к власти Гитлера», и еще: «Жаль, что вы сами не смогли от него освободиться». Я не выдержала и рассказала им, что я еврейка и живу на нелегальном положении. Еще я говорила про своего отца, живущего в Англии, но поняла, что все это звучит крайне неправдоподобно. Назвать свои имена мы не успели. Сирены возвестили отбой воздушной тревоги. Солдаты погнались офицеров дальше. Мы смогли попрощаться лишь взглядом.

Много дней я не могла говорить ни о чем другом, кроме как об этой, подбодлившей нас встрече во время войны. Мы как-то уверенней себя почувствовали, словно увидели перед собой цель.

Как-то вечером в наш хлев постучали. Торопливо вошел Вальтер Рик. В ранних сумерках декабрьского вечера этот круп-

ный мужчина выглядел крайне растерянно. Лицо бледное, губы и того бледней, глаза покраснели. Руки висят как плети. Он грузно опустился на стул, снял шапку и спустя несколько секунд хрипло промолвил:

— Слушайте, меня сегодня вызывали в потсдамское гестапо. — И после короткой паузы, чтобы перевести дыхание: — Они спросили меня, правда ли, что я прячу двух евреек.

— Господи, это еще откуда? — Мать вскочила со стула и в ужасе закрыла лицо руками. Я словно окаменела. Интересно, у кого в Потсдаме могло возникнуть такое подозрение.

— Думаю, это донос, — сказал Вальтер и повернулся к окну. — По-моему, гестаповцы и сами не очень этому поверили, иначе они не задавали бы такие странные вопросы, — вслух рассуждал он, но мы были слишком напуганы, чтобы делать какие-то выводы.

— Надо немедленно убираться отсюда! — воскликнула мать. — Но куда? Куда же? — спрашивала она в страхе. Было ясно, что нам грозит опасность, хотя Рик и предположил, что гестапо не придает или почти не придает значения этому доносу. Однако не исключено, что они проведут расследование. И Рик согласился, что нам лучше всего, хотя бы ненадолго, исчезнуть отсюда. Он молча сидел и размышлял вместе с нами.

— Разве что квартира Линке, — нерешительно сказал он. — А почему бы и нет?

У Карла Линке, в прошлом тоже социал-демократа и директора школы, была квартира на Констанцерштрассе, 3, в доме, где Рик работал управляющим. С тех пор как Берлин начали бомбить, Линке тоже перебрался в провинцию и наезжал лишь изредка, чтобы посмотреть как и что. Большую часть мебели он оставил в квартире. А не будет ли он против? Как бы его спросить? Этого Рик тоже не знал, а потому задумался. Наконец он сказал:

— Ключи у меня. И я беру ответственность на себя. Слава Богу, я знаю Линке.

Другого выхода у нас не оставалось. Нам было необходимо покинуть наш козий хлев, который казался раньше таким надежным. Ни к кому из друзей мы пойти не могли, потому что они, как и многие, лишились жилья после бомбежек.

— Нужно что-нибудь придумать, чтобы у вас была возможность вернуться сюда, если гестапо не обнаружит ваш хлев, — сказал Рик.

Фрау Фабиг не должна была догадываться об истинных причинах нашего отъезда.

— Придумайте что-нибудь, а с собой возьмите лишь самое необходимое, — внушал он.

Рик ушел, пообещав прислать к нам тетю Лизу и свою жену с ключом от квартиры Линке.

Почти два года мы жили на нелегальном положении. Война близилась к концу, победоносному для союзников. Однако каждый новый день мог оказаться для нас роковым. И все еще катились на восток поезда с депортированными.

Мы вытащили чемоданы, побросали в них, что подвернулось под руку: продукты, одежду, нам все казалось ценным, все могло помочь нам выжить. Но что прикажете говорить нашей фрау Фабиг, которая понятия не имеет, кого она у себя приютила? Какое объяснение прозвучит правдоподобно? Покуда мы так хлопотали и раздумывали, к нам пришли тетя Лиза и фрау Рик. Мать не стала скрывать своего отчаяния. А я молчала. Мне казалось, будто я вообще больше не способна думать.

— А что, если гестапо зайвится еще этой ночью?! — воскликнула мать. — Тогда нам конец.

Поездов на Берлин до утра не будет, а найти нас в этом маленьком поселке проще простого. Мать словно в уме повредилась, ее вопросы и жалобы лились потоком. Как уйти, чтобы фрау Фабиг ничего не заметила? Что будет, если Линке не пожелает оставить нас у себя в квартире? Сначала обе женщины слушали молча, но тут вдруг Женни Рик закрыла руками лицо и зарыдала. А потом обняла мою мать, которая и сама с трудом удерживала слезы. Только Лиза Холлендер сохраняла спокойствие.

— Вам завтра надо уйти еще затемно, — сказала она очень твердо. — Если гестапо и придет, то уж никак не раньше пяти.

Ее слова звучали убедительно. Итак, мы должны покинуть наш хлев раньше, чем предполагали. Тетя Лиза хотела под каким-нибудь предлогом позаимствовать тележку у семейства Хенце, чтобы отвезти наши вещи. До станции она нас проводит, а уж в Берлине мы должны будем управляться сами. Оста-



вался только один вопрос: что сказать милой старой фрау Фабиг? Она такая приветливая, такая доверчивая. Она и ее муж, строительный рабочий и старый профсоюзный деятель, не ели и не пили, чтобы построить свой домик. Он рано умер. А она жила на нищенскую пенсию и доходы со своего огорода, где трудилась не покладая рук. Можно было не сомневаться, что фрау Фабиг не из нацистов. Но сказать ей правду мы не могли. Она женщина робкая, поди знай, как себя поведет. У нее есть дети, есть внуки. Наконец нас осенило. Мы решили оставить ей письмо, в котором сообщим, что у себя в лавке я ляпнула что-то лишнее. Не исключено, что на меня кто-нибудь донесет. Поэтому мы сочли разумным не оставаться у нее, чтобы не подвергать ее опасности. А как только угроза минует, мы снова вернемся в наш козий хлев. Вообще же мы дадим о себе знать и оставляем свою одежду и плату за жилье.

Тетя Лиза пообещала передать фрау Фабиг то же самое на словах, чтобы наше объяснение выглядело более правдоподобно. Мать все время плакала. Я слышала, как она всхлипывает под одеялом. В ту ночь мы совсем не спали. Встали на рассвете. «Скорей, скорей!» — то и дело подгоняла меня мать. Без малого в пять сверкнул фонарик. Тетя Лиза явилась с тележкой и ждала нас на улице. Не обуваясь, чтобы никого не разбудить, мы перетащили наш скарб на улицу. Письмо для фрау Фабиг мы сунули в почтовый ящик. Я тянула тележку, мать и тетя Лиза толкали ее сзади. До станции мы добирались минут двадцать. По дороге нам встретились первые прохожие, по большей части рабочие-иностранцы. На станции мы сгрузили наше добро и со слезами попрощались с тетей Лизой. Она обещала вскорости навестить нас у Линке.

Мы втащили вещи на платформу. На душе у нас было очень скверно. На станции Шарлоттенбург мы оставили часть пожитков в камере хранения и направились на Констанцерштрассе. Там украдкой поднялись по лестнице и позвонили. Никто не откликнулся, и мать отперла дверь. Войдя в трехкомнатную квартиру, мы сразу догадались, что в ней давно никто не живет. Все было покрыто пылью, пахло затхлостью. Мы решили расположиться только в спальне, где стояли две кровати. Спальня выходила окнами во двор, и в нее было не так-то просто заглянуть снаружи, а вдобавок она не имела общей стенки с кварти-

рой соседей. Мы на цыпочках прошмыгнули в комнату, чтобы нас никто не услышал, и говорили только шепотом. А улегшись, от усталости тут же заснули и проснулись, лишь когда Вальтер Рик отпер дверь своим ключом. Время уже перевалило за полдень.

— Не беспокойтесь, — сказал он, — пока никто не приходил, а если они не пришли сразу, значит, ничего страшного не будет.

Но конечно, на первых порах следовало вести себя осторожно. Мать не поддавалась на его речи, но Рик продолжал ее заверять.

— У меня уже в гестапо сложилось впечатление, что они не воспринимают это всерьез, — повторял он. И все уговаривал нас ни о чем не беспокоиться. Он целиком и полностью отвечает за Карла Линке, у которого не сумел письменно спросить разрешения. Сегодня он показался мне особенно внимательным и любезным.

Потом заявили тетя Лиза и Женни Рик. Они тоже почувствовали облегчение, узнав, что пока все идет нормально. Тетя Лиза успела переговорить с фрау Фабиг, которая отнеслась ко всему с полнейшим пониманием и была очень признательна за нашу заботливость. Обе женщины вскоре ушли.

Мы начали привыкать к новой квартире. Что и говорить, она была удобнее, чем козий хлев. Потекли спокойные дни. Вернувшись как-то днем, мы увидели засунутый под дверь кусок картона, желтого, как еврейская звезда. А на картоне наклеены вырезанные из газеты буквы, которые составляли слова «Евреи Дойчкрон — Рик». Ужас поразил нас, как молния. Кроме семейства Риков и тети Лизы, никто не мог знать, где мы находимся. И выследить нас тоже никто не мог. Все это было зловеще и непонятно. Мать плакала, то и дело повторяя: «Куда же нам теперь?» — и ломала руки. По счастью, в тот же день нас навестила тетя Лиза. Увидев кусок картона, она сильно побледнела. Потом обернулась к моей матери и сказала: «Не беспокойтесь, пожалуйста». А уж потом начала рассказывать:

— Когда Вальтер пришел в гестапо, ему сообщили, что на него поступил донос, в котором говорится, что он прячет двух евреек. А когда он начал заверять их в своей невинности, ге-

стаповцы сказали, что им вся эта история тоже представляется неправдоподобной.

По его просьбе гестаповцы показали анонимное письмо с доносом и спросили, знаком ли ему почерк. Он ответил утвердительно. Это был почерк его жены Женни.

Мать вскочила со стула. Быть того не может! Женни Рик, которая нам все время помогала, вдруг надумала донести на нас? Какой абсурд!

— Ничего не абсурд! — сказала Лиза. — Похоже, она сделала это, чтобы не потерять мужа.

Занятые тревогами о собственной судьбе, мы совершенно не заметили, что, пока Женни с дочерью были в Баварии, Вальтер Рик вступил в связь с актрисой Шарлотхен. Еще мы узнали, что Женни якобы пыталась покончить с собой. И вот после всех этих переживаний она слегка повредилась в рассудке.

А кусок желтого картона, похожий на тот, что подсунили нам, тетя Лиза видела вчера в сумке у Женни, когда та доставала оттуда кошелек. Лиза всячески старалась утешить мою мать и твердо сказала, что, хотя эта женщина в своем горе не совсем понимает, что делает, выдавать нас она наверняка не собиралась. Отсюда и неясность показаний в гестапо. Возможно, она просто хотела припугнуть мужа. Так пытались тетя Лиза, а потом и Вальтер Рик оправдать ее поведение. Оба заклинали нас не придавать этому случаю никакого значения. Женни никогда, ни за что не сдаст нас в лапы гестапо. Еще они умоляли нас не подавать виду, когда мы будем разговаривать с Женни, а наоборот, вести себя так, будто между нами все остается по-старому.

По счастью, Женни и не дала нам такой возможности — до самого конца войны мы больше ее не видели.

Хотя квартира Линке была для нас очень приятным убежищем, мы понимали, что не сможем в ней долго оставаться. Через некоторое время соседи заметят, что в ней кто-то живет. А потом вдруг объявился сам Линке. Рик предупредил нас о его возможном приезде. Линке сам известил Рика, хотя и не назвал точной даты. В то время требовалось большое везение, чтобы сесть на нужный поезд. Но однажды кто-то отпер дверь. Я поспешно вышла в коридор. Линке явился не один, а с дамой, которую представил как свою секретаршу. Я назвала себя и сразу

заговорила, чтобы не дать ему времени для возражений, сказала, кто я, и еще сказала, что Рик ненадолго разместил нас в его квартире, что, к сожалению, мы сами не могли попросить у него разрешения, что Рик взял всю ответственность на себя, что мы пробудем у него всего лишь несколько дней, пока не подыщем себе другое жилье, ну и так далее. Линке был крайне обескуражен, но поспешил меня успокоить: «Ничего, ничего, все уладится, не тревожьтесь» — и прошел со своей секретаршей в другую комнату. У меня было прескверно на душе.

«Надо убираться отсюда!» — воскликнула мать, когда вернулась домой и я ей обо всем рассказала. В тот же день к нам пришел Рик и сказал, что Линке разговаривал с ним и подтвердил свое согласие на наше пребывание в его квартире. Но конечно же недолгое. Будь моя воля, я бы съехала сразу, прямо на другой день. Я ведь не знала, согласился Линке искренне или потому, что его просто «застукали». Но поначалу у нас не было выбора. Мы без конца ломали голову с фрау Грюгер, с тетей Лизой и Вальтером Риком, пока наконец у нас не возникла новая идея.

## НАЦИСТЫ И ПРОЧИЕ

«Ха-ха-ха, а господин коммерции советник Леви тоже гниет в общей могиле». Мозглявый человечек с лошадиным лицом, произнесший эти слова, поглядел на роспись прежнего владельца книги и издевательски засмеялся, самодовольно поглаживая усы. Белокурая женщина, стоявшая рядом, прижалась к нему и тоже засмеялась. Мне стоило больших трудов сохранять спокойствие. Этого человека звали Кёниг. Я, конечно, знала, что он нацист, знала это еще до того, как начала у него работать.

Лишившись работы в лавке Греты Зоммер, я должна была подыскать себе другое занятие. Не могла же я зимой гулять в парке Сансуси, как не могла и сидеть весь день в козьем хлеву. Поначалу выход нашла фрау Гумц.

«Иди ко мне, будешь гладить белье», — сказала она. Гладильщица подвела ее, а найти рабочую силу в те дни было почти невозможно. Я согласилась. Большой уют был очень тяжел, а мужские сорочки ужасно неподатливы. «Чтобы хорошо выгладить сорочку, надо не меньше пятнадцати минут», — наставляла меня фрау Гумц и показывала, как ее нужно все время смачивать во время глажки мокрой тряпкой, чтобы она не топорщилась. Гладильный стол стоял напротив входной двери, так что я могла видеть всех клиентов. А те в свою очередь видели меня. Когда старые клиенты задавали вопросы обо мне, фрау Гумц объясняла, что я помогаю ей по дружбе. И было совершенно ясно, что долго так не протянется.

Выход, как всегда, нашел Вальтер Рик. «Ты готова работать у нациста?» — спросил он. Я засмеялась: «А почему бы и нет? Это даже надежней, чем любое другое место». Вальтер Рик управлял одним домом в Нойкёльне, на Берлинерштрассе, а в этом самом

доме располагалось заведение Кёнига. Как-то раз Кёниг пожаловался Рику, что у него забрали последнюю продавщицу и отправили ее на оружейный завод. И он просто не представляет себе, как ему дальше в одиночку управляться с таким большим заведением. Кёниг держал лавку канцелярских товаров с двумя витринами и при ней библиотеку, много больше той, что была у Греты, а плюс к тому торговал редкими книгами. И тогда Рик сказал Кёнигу, что знаком с некой Ингой Рихтер, что у этой Инги больное колено, а потому она не может целую смену работать на оружейном заводе. Но поскольку Инга, имея мать-вдову, должна приносить домой полный заработок, она наверняка не откажется сколько-то дней в неделю подрабатывать у Кёнига. Тот нашел эту идею превосходной, хотя бы потому, что он не обязан докладывать обо мне властям, а следовательно, не рискует, что и меня заберут на оружейный завод.

Я пошла к Кёнигу, чтобы представиться, и сразу увидела, что произвела на него хорошее впечатление. Но покуда здесь присутствовала белокурая продавщица, которая вводила меня в курс дела, он держался всего лишь вежливо, и только когда она выходила, Кёниг специально выбирал время, чтобы поговорить со мной. Его заведение мне очень понравилось из-за красивых старинных книг, часть которых он купил на аукционах. Мой интерес его радовал. Он показывал мне ценные экземпляры, которые не собирался продавать. «Разве что припрет...» — добавлял он. Когда война стала приближаться к концу, он начал высказываться более определенно: «...Допустим, какому-нибудь американцу», — и цинично смеялся при этом. Я помалкивала, делая вид, будто ничего не понимаю, даже когда он говорил, что выиграть войну уже невозможно.

Кёниг по секрету сказал, что состоит в партии, и даже показал партийный значок, который носил под лацканом пиджака, готовый, если понадобится, по первому требованию предъявить его, как он со смехом поведал мне. Друг друга мы приветствовали словами «хайль Гитлер!». Несколько раз он приглашал меня пообедать. Когда я сказала, что у меня нет с собой продовольственных талонов, он отмахнулся: «Мои друзья мне и так дают, без талонов». В ресторане его и впрямь уважали, как уважают человека, от которого ждут, чтобы он скорей ушел. Я спросила его, почему он не в вермахте и не в СС?

«Ну есть же у человека связи, — отвечал он и добавил: — Разумеется, благодаря партии». Я ему явно нравилась, а потому старалась не говорить и не делать ничего такого, что он может истолковать как поощрение.

«А по-английски вы, случайно, не говорите?» — однажды спросил он. Я ответила утвердительно. «Замечательно! Тогда вы сможете вести мою лавку, когда придут американцы, — сказал он. — Мне, как партийцу, это вряд ли разрешат». И он снова засмеялся. На еврейскую тему мы никогда с ним не разговаривали. Да и зачем? После его реплик относительно коммерции советника Леви я не питала на этот счет никаких иллюзий. Несмотря на отвращение, я держалась с ним вполне приветливо. Когда его не было в лавке, я чувствовала себя там много лучше, чем у Греты. Служба у известного во всей округе нациста сулила мне бóльшую безопасность. «Ядовитой кухни», в которой Грета хранила внесенные в список книги, у него, разумеется, не было. Запрещенные книги были отсортированы, а потом исчезли.

Вальтер Рик рассказывал мне, до чего Кёниг доволен мной, доволен моим усердием и образованностью. После того как пользоваться транспортом было разрешено только для поездок на работу и с работы да и то при наличии удостоверения, Кёниг и его раздобыл, поскольку мой «оружейный завод» был расположен якобы на другом конце города.

«Вы какое предпочитаете?» — спросил он со смехом и показал мне зеленое и желтое. Конечно же я схватила оба, чтобы одно отдать матери. Зеленое предназначалось для рабочих оружейной промышленности, желтое — для рабочих предприятий, имеющих оборонное значение. Было еще и красное удостоверение — для сотрудников предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение города, например за водоснабжение, газ и электроэнергию.

Мои отношения с Кёнигом очень тревожили мать. «Если он узнает, кто ты такая на самом деле...» Не без оснований она боялась, что он особенно разозлится потому, что его обманули. Но тревога матери меня не смущала: выгода работы у Кёнига, на мой взгляд, значительно перевешивала опасность.

Моя мать находилась в схожем положении. Она тоже нашла работу. Из-за участвовавших бомбежек школы в Берлине закрыли

и перевели в такие, покамест благополучные области, как Силезия, Судеты или горы Баварии. Но не все родители были с этим согласны. Они предпочитали не разлучаться с детьми. Хотя, с другой стороны, конечно же они хотели, чтобы дети продолжали учиться. Поэтому на заборах и деревьях начали появляться бумажки: «Ищем учительницу». И мать решила откликнуться на одно из таких объявлений. Она выдала себя за вдову учителя и сказала, будто ей не раз приходилось проводить дополнительные занятия, что, впрочем, соответствовало действительности. Родители были так довольны моей матерью, что вскоре она вела уже целые группы детей-одногодок и хорошо зарабатывала.

Вся нелепость ситуации заключалась в том, что отцы детей того круга, куда она угодила по чистой случайности, все без исключения состояли в СС. И само собой, как дети, так и родители приветствовали мою мать словами «хайль Гитлер». В отличие от Кёнига, они почти до самого взятия Берлина Красной Армией считали поражение Третьего рейха невозможным. Мать, которая никогда не пускалась в долгие разговоры со своими работодателями, иногда слышала подобные высказывания родителей.

«Когда же наконец фюрер пустит в ход наше чудесное оружие?» — спрашивали порой и дети. Тогда мать делала вид, будто они своими вопросами хотят отвлечь ее от урока, и просила их быть повнимательнее. И каждая из нас получила повод при случае упрекнуть другую, будто наци, у которых та служит, еще страшней.

Но главное, конечно, было в том, что мы ушли наконец «с улицы» и стали достаточно зарабатывать, чтобы платить за жилье и еду. Снабжение тем временем становилось все хуже. Порой я заходила к прежним «коллегам» в Халензее, и они совали мне какой-нибудь кусок. Но я ничего не могла им предложить взамен. В один из таких визитов со мной заговорила фрау Решке, хозяйка молочной лавки, расположенной всего лишь в нескольких метрах от Гретиной. Ее Агнес тоже забрали на оружейный завод. И вообще фрау Решке перестала понимать, что происходит. В конце концов торговля молоком очень важна для населения. Она просто не знает, как будет работать дальше, потому что осталась теперь совершенно одна. Фрау Решке нерешительно спросила меня, не могу ли я помогать ей, ну хотя бы по субботам, когда после обеда покупателей особенно много.



— Вот было бы здорово, — сказала толстуха с заметным облегчением. — Вас здесь все знают, так что никаких проблем не будет.

А она тогда получила бы наконец возможность навестить мужа, чья часть стоит недалеко от Берлина.

Мы договорились на два дня в неделю, после обеда. Дома я выразила по этому поводу бурный восторг:

— Колбаса, сыр, масло, молоко! Ты только подумай!

Но мать забеспокоилась:

— Не таскай много, не то заметят. Лучше понемножку от всего, но только не забывай класть деньги в кассу за все, что возьмешь.

Я лишь посмеялась над ней.

Итак, я приступила к работе у фрау Решке. Работа оказалась куда тяжелей, чем я предполагала. Мне было трудно взвешивать, трудно подсчитывать — 125 граммов крупы по 27 пфеннигов за фунт и тому подобное. Резать колбасу, разливать молоко, получать деньги и продуктовые талоны — это было, на мой взгляд, куда сложнее, чем выдавать книги. Большинство покупателей радовались, что снова видят меня, и потому снисходительно относились к моей нерасторопности. Как-то утром в воскресенье фрау Решке собралась съездить к мужу. И я пообещала вместо нее продавать молоко.

«Ничего, справитесь», — сказала фрау Решке и, взяв большую корзинку, вышла из лавки. В девять утра я пришла на свое рабочее место. Но к этому времени молоко еще не привезли. Мало-помалу образовалась очередь женщин, терпеливо ожидавших со своими бидончиками и бутылками. Никто не знал, во сколько привезут молоко. Когда же наконец машина пришла, женщины ринулись в лавку, желая, чтоб их как можно быстрее обслужили. Я была рада, потому что это сборище женщин перед дверью внушало мне страх. Ведь они могли сорвать свое нетерпение на мне. Могли рассказать обо мне Бог знает что. У них было достаточно времени, чтобы как следует разглядеть меня.

Водитель молоковоза слил молоко в большой бак. Я взяла первую бутылку, но куда я ни опускала черпак, в него набиралась только пена, которую невозможно налить в бутылку. Меня никто не предупредил, что для снятого молока — белой жид-

кости с синеватым оттенком, которую тогда продавали, требуется время, чтобы осела пена. Я начала нервничать и почувствовала, как нервничают женщины. Я отчаянно сражалась с молоком, пока не уронила черпак в бак. А когда попробовала его достать, мне показалось, будто все смотрят на меня, одни с презрением, другие с нетерпением. Я даже вспотела от волнения. Пока мне удалось наконец разлить молоко в бутылки и очередь заметно уменьшилась, я совершенно выбилась из сил.

Рядом сидела здешняя черная кошка и мяукала, жалобно, как мне казалось. Она внушала мне некоторый страх, потому что ее нельзя было приручить ни лаской, ни добрыми словами. Зеленые глаза кошки злобно сверкали.

Когда поток покупателей почти иссяк, я села за стол фрау Решке в задней комнатке и начала наклеивать талоны, как она мне показала. Передо мной лежали большие газетные листы, а рядом — стопки пестрых талонов: синие на мясо и колбасу, желтые на масло и прочие жиры, а коричневые на хлеб. Посередине стола стоял горшок с клеем; широкой кистью я мазала газету клеем и наклеивала на нее талоны. Если в лавке звякал дверной колокольчик, я прерывала свое занятие. Задержавшись с каким-то покупателем дольше обычного, я заметила, как кошка спрыгнула со стола. Я помчалась за ней, потому что к ее лапкам и шкурке прилипли драгоценные пестрые талоны. И все мои попытки их стряхнуть были напрасны. Кошка не подпускала к себе, шипела и норовила укусить, как только я подходила к ней поближе, а когда мне наконец удалось ее схватить, расцарапала руки. Я спасла все талоны, какие только смогла. Потом я находила их на мебели, на полу, словом, всюду, где бегала кошка. И на столе тоже был ужасный кавардак.

Кошка явно посидела на только что наклеенных талонах. Я работала как безумная, чтобы привести все в порядок; для меня было очень важно, чтобы у фрау Решке не случилось неприятностей. Она всякий раз мне что-нибудь давала с собой. Но поскольку она конечно же не могла знать, что у нас нет даже самой простой еды, мне приходилось прихватывать немножко в придачу. Когда я работала в лавке одна, то взвешивала все, что ни «украду», а деньги клала в кассу. Порой ко мне приходил «за покупками» Ганс Розенталь, прикрывая портфелем желтую звезду. Если в лавке было много народа, я торопливо

совала ему парочку талонов, на которые он потом мог здесь же что-нибудь купить. Перед другими покупателями мы держались как незнакомые люди. Да и то сказать, мы теперь очень редко виделись.

Подходя однажды в субботу к лавке фрау Решке, я по заклеенной картоном витрине поняла, что здесь явно побывали воры. В те дни приближающегося конца войны это случалось сплошь и рядом. Иностранные рабочие, которых давно уже практически не кормили, под покровом темноты беспрепятственно взламывали продуктовые лавки. Я не посмела войти, но фрау Решке уже меня углядела.

«Как хорошо, что вы пришли! Сюда скоро придет полиция, чтобы выяснить, что произошло, и поэтому я не смогу встать за прилавок».

Я испугалась. Как мне быть? Ведь полиция может потребовать мои документы и взять меня под подозрение. С другой стороны, мне было понятно, что, вздумай я под каким-нибудь благовидным предлогом улизнуть, это тем более вызовет подозрение. Я решила рискнуть — и осталась. Действительно, вскоре появились два сотрудника уголовной полиции, они любезно поздоровались, сказав «хайль Гитлер», после чего попросили меня отвести их к фрау Решке, которая ждала их в своей комнатке позади лавки. Кофейник уже стоял на столе. Пока они рассаживались, я вернулась в лавку и стала обслуживать покупателей, напряженно прислушиваясь к разговору в комнате фрау Решке, но разобрать ничего не могла, и мой страх становился все сильнее. В конце субботы в лавке всегда много дел. Полицейские проговорили с фрау Решке целый час. Потом она зашла в лавку, взяла палку колбасы и несколько кусков масла и унесла их к себе. Спустя еще час полицейские попрощались с приветливой улыбкой и ушли, каждый зажав под мышкой плотно набитый портфель, сердечно благодаря фрау Решке и желая мне всего хорошего. Наконец-то я облегченно вздохнула.

— Да ведь они не провели никакого следствия, — растерянно сказала я.

— Не провели, — засмеялась в ответ фрау Решке, — они всего лишь рассказали мне, как заявить о недостатке товара, чтобы не понести убытка.

## БЕЖЕНЦЫ ИЗ ГУБЕНА

Моя мать причитала: «Ах, какой ужас! Ах, какой ужас!» И голос у нее срывался, словно воспоминания вконец одолели ее. Она то и дело встряхивала головой, глаза у нее были широко раскрыты. Потом она сняла с головы платок и села за длинный стол. Пока руки ее беспокойно бегали по столешнице, она все повторяла: «Ах, какой ужас! Ах, какой ужас!»

Мальчик из гитлерюгенда с белокурыми волосами и детским лицом стоял рядом и растерянно глядел на нее. Он не знал, что сказать. Я же была искренне удивлена тем, что мать так правдоподобно выражает свое отчаяние. Мальчик обернулся ко мне: «Может, вы поедите?» Да, поесть — это неплохо. С самого утра у нас крошки во рту не было.

«А формальности можно выполнить потом». Мальчик помчался прочь, ловко прокладывая себе дорогу между беженцами, которых на Герлицком вокзале опекала НСБ... Вид у них был еще более ужасный, чем у нас: одежда мятая, грязная и рваная. Волосы всклокочены, лица посерели от усталости. Напуганные, хнычущие дети жались к взрослым, сидевшим в окружении ящиков и сундуков. Лишь немногие ели то, что стояло на столах. Женщины из НСБ с большими чайниками и кастрюлями буквально заставляли их: «Может, еще немножко кофе? Или тарелочку картофельного супа?» Но беженцы были слишком подавлены, поэтому им кусок не шел в горло. Вдобавок они не понимали, что здесь предлагают еду, которую обычный горожанин давно уже в глаза не видел.

Большинство беженцев уже много дней находились в дороге, а отправились они в путь, когда советские части уже стояли у ворот их города. Раньше им не разрешалось бежать туда, где

безопаснее. Надо было не бежать, а сражаться за каждый метр немецкой земли. Считалось, что чем больше беженцев, тем больше и риск, что народ выступит против правительства.

А когда бежать наконец разрешили, у них уже не осталось времени, чтобы спокойно уложить вещи. Орудия грохотали совсем близко, поэтому люди брали с собой только самое необходимое — надо было уезжать как можно скорей. Но потом оказалось, что прихватить они смогли лишь самую малость. Мы с матерью сели в Люббенау в поезд, битком набитый беженцами. Ранним утром мы выехали из Берлина. Чтобы не отличаться от остальных пассажиров, обмотали головы платками, надели драные платья, а с собой у нас был лишь маленький чемодан, перевязанный бечевкой. Сотни раз мы обсуждали возможность приехать в Берлин под видом беженцев с востока, строили планы, отказывались от них и, наконец, рискнули. Мы хотели как можно ближе подъехать к линии фронта. Нам был нужен хаос. С другой стороны, мы не хотели ехать слишком долго, потому что в поезде, случалось, проверяли документы.

Люббенау, посреди Шпревальда, два часа езды от Берлина — это казалось нам вполне подходящим местом. Едва мы туда добрались — без проверок и не попав под бомбежку, — я сразу купила билеты обратно на Берлин. Ждать поезда с беженцами пришлось недолго. В вагоне нас встретили неприветливо. Там уже и без нас было полно детей, женщин, собак, ящиков и коробок, так что даже стоячее место мы нашли с трудом. Беженцы рассказывали друг другу о том, что им пришлось пережить. Одни бежали из Губена, другие из деревни. И все говорили об ужасных преступлениях советских солдат — об изнасилованиях, грабежах и расстрелах. Мы внимательно слушали и порой тоже вставляли словечко, чтобы поддержать разговор. Нам хотелось как можно лучше узнать, что происходит на фронте. Каждая улица в Губене много раз переходила из рук в руки. Еще мы узнали, что в каждом городе есть Адольф-Гитлерштрассе и Берлинерштрассе. Вскоре мы решили, что достаточно представляем себе, как выглядел Губен, перед тем как туда вошли русские.

Мы с матерью очень обрадовались, когда поезд наконец-то начал приближаться к Берлину. Был уже вечер, мы устали от трудного пути и нервного напряжения. Но чем ближе поезд

подходил к Берлину, тем озабоченной становились беженцы. Берлин... Очень немногие знали этот город и вообще когда-нибудь бывали в больших городах, но зато все слышали про страшные бомбежки, хотя не могли себе это представить. Был февраль. Темнело рано, поэтому беженцы и не увидели развалин. Мать забеспокоилась. Уж она-то знала, что часов около семи можно ждать англичан. А поезда были для них постоянной мишенью. Наконец мы въехали под своды Герлицкого вокзала. Поезд еще не успел остановиться, как погасли редкие вокзальные огни. Воцарилась непроглядная тьма. Из громкоговорителей нас призывали поторопиться: английские бомбардировщики на подходе к Берлину. Женщины кричали, дети плакали: «Мама, мама, ты где?» В темноте кто-то шагнул мимо ступенек и упал с лестницы.

«Где мой чемодан? Кто взял мой чемодан? Воры! Воры!» Все кричали наперебой. В этой сумятице я шепнула на ухо матери: «А у меня есть идея! Мы тоже потеряли чемодан, а в нем были все документы».

Мать усмехнулась и сказала, качая головой: «Ты совсем сошла с ума». Больше она ничего сказать не могла, у нее сел голос, и ее вздохи звучали теперь вполне естественно. К нам на помощь спешили сестры из Красного Креста и ребята из гитлерюгенда. Вспыхивали фонарики, нам указывали дорогу в убежище, так как завывали сирены: воздушная тревога. Я забеспокоилась. Убежище при вокзале — это меня почему-то пугало. Но нам повезло: очень скоро дали отбой. На город не упало ни единой бомбы. На этот раз англичане бомбили не Берлин.

Нас проводили в столовую. Два молодых человека из гитлерюгенда хлопотали вокруг нас. Я им понравилась. Среди беженцев почти не было молодых девушек. Я не мешала им ухаживать за мной.

— Вы откуда?

— Из Губена, — уверенно ответила я.

— А куда вы хотите?

— Мы хотим остаться в Берлине, у нас здесь родственники. Они согласны взять нас к себе.

— Хорошо, — сказал один из молодых людей, — а где живут ваши родственники?

— В Шарлоттенбурге, — отвечала я.

— Мы вас отведем туда.

Я отказалась. Ни к чему это. В Берлине я в общем-то ориентируюсь. Найдём и сами.

— Нет, нет, — настаивал молодой человек, — вы себе не представляете, как изменился Берлин.

Он явно имел в виду бомбежки. По некоторым улицам уже давно нельзя пройти. Мне прямо дурно стало от его предложения. Что скажет тетя Лиза, если мы заявимся к ней в сопровождении молодого человека из гитлерюгенда! Но для начала мы все-таки сели за стол и поели. Я ела-ела и все никак не могла утолить голод, я уже давно так не ела.

Мать тревожилась: «Перестань, все смотрят, как много ты ешь». И она была права, настоящие беженцы почти ничего не ели. Отчасти потому, что у них не было сил, отчасти потому, что куски хлеба, намазанные толстым слоем ливерной колбасы, для них не так много значили, как для меня. Впрочем, мне было все равно. Я позволила себе расслабиться.

— А теперь что делать? — беспокоилась мать. Ребята из гитлерюгенда внушали ей страх.

— Нам еще надо заявить о потере чемодана, — сказала я.

— Конечно! — поддержал меня молодой человек, который снова очутился рядом. — Это нельзя откладывать! — И указал нам, как пройти к дирекции вокзала.

Мать осталась в столовой. Мрачный служащий в окошке спросил, чего мне надо. Я объяснила, что хочу заявить об утере чемодана. Он дал мне бланк, я описала, как выглядит чемодан, и перечислила то, что в нем лежало. Это оказалось нетрудно. А подписалась я именем, которое собиралась носить: Инга Элизабет Мария Рихтер. Насколько мне было известно, неевреи носили по большей части не одно имя, а несколько. «Железная дорога известит вас о результатах, — равнодушно сказал служащий. — Да-да, мы вам сообщим, да-да по адресу, который вы оставили». После чего торопливо захлопнул окошко.

Я вернулась в столовую. Едва я доложила матери все подробности, как она сказала: «А теперь прочь отсюда, я больше не могу. Эта жуткое зрелище и вся атмосфера пугают меня». И она указала на картину от пола до потолка, где был изображен фюрер в коричневом мундире. Рука на ремне, взгляд устремлен прямо перед собой. Но тут появился один из молодых людей и

шепнул мне на ухо: «Опять дали предупреждение о тревоге. Англичане по второму разу идут на Берлин. Так что уйти отсюда пока нельзя».

Мы обе ужасно встревожились, ведь тетя Лиза будет нас ждать. Снова спустились в бомбоубежище. И снова ничего не произошло. В подвале стояла тишина. Все прислушивались к тому, что происходит снаружи. Беженцы сидели на своих полках. Почти все дети спали, тихо посакивая во сне. Воздух был хоть топор вешай. Бомбоубежище не имело вентиляции. Испарения множества невымытых людей, которые давно не раздевались, собак, которых они везли с собой, — все это наполняло низкий подвал невыносимой вонью. Мать причитала: «Боже, надо выбираться отсюда», и руки у нее дрожали от волнения. Когда наконец дали отбой и нам разрешили вернуться в столовую, один из молодых людей сказал: «Мне ужасно жаль, но теперь вам придется заночевать здесь. Уже десять часов, и транспорт больше не ходит».

Как же быть? Он предложил нам ночлег, куда устроили и всех остальных. В школе на Глогауэрштрассе были приготовлены кровати. Делать было нечего, и мы, прихватив свой жалкий скарб, вышли вслед за всеми на темную улицу. Было холодно и неудобно. Сестра из Красного Креста показывала нам дорогу. Люди больше спотыкались, чем шагали. Через несколько минут мы подошли к старому зданию школы.

В актовом и в спортивном залах стояли кровати, покрытые солдатскими одеялами.

Мужчин и женщин разместили в одном зале. Собаки делили ложе с хозяевами. Мы с матерью выбрали верхний ряд двухэтажных кроватей, чтобы можно было переговариваться, и, не раздеваясь, легли. Заснуть не удавалось, потому что в зале все время происходило какое-то движение. Кто-то шел в туалет, у кого-то плакал ребенок, лаяла собака, один громко говорил во сне, а другой и вовсе кричал. С первым проблеском зари, часов около пяти утра, я не вытерпела. Мы встали, кое-как ополоснули лицо и руки и обратились к сестре:

— Наши родственники уйдут на работу. Если мы не застанем их утром, то нам придется ждать до вечера.

Сестра нас поняла.



— Я только должна подтвердить, что вы прибыли сюда как беженцы. Ваше имя?

Я с полным самообладанием ответила:

— Элла Паула Рихтер и Инга Элизабет Мария Рихтер, из Губена.

— Хорошо, достаточно. Зайдите в ближайшие дни в отделение НСБ вашего округа. Они вам окажут дальнейшее содействие.

Я поблагодарила ее за заботу. Мать лишь сделала какой-то благодарственный жест.

— Мой голос... — прошептала она извиняющимся тоном.

— Понимаю, — сказала сестра, — это все от волнения. — И после минутного молчания, когда она заботливо совала бумаги в мой карман, спросила: — А вы серьезно хотите остаться в Берлине? — В ее голосе звучала тревога.

Я снова повторила свой рассказ о том, что в Берлине у нас живут родственники. «Ну, тогда желаю успеха», — сказала сестра, и мы ушли. Вернее, побежали, помчались к станции электрички, навстречу поезду на Шарлоттенбург. Поезд, как обычно, был набит хмурыми невыспавшимися пассажирами, которые ехали на работу. Люди, подсевшие в вагон, да еще с чемоданчиком, пришлись очень некстати. Пассажиры недовольно потеснились. А от станции нам еще было пятнадцать минут ходу. Совершенно задохнувшись, влетели мы на Констанцерштрассе, и мать отперла дверь.

— Господи! Да я всю ночь глаз не сомкнула!. — Тетя Лиза выбежала нам навстречу и обняла нас. — Я уже проклинала себя, что присоветовала вам такое...

— Но ведь все хорошо! — И мы начали рассказывать про свои приключения, про то, как душевно нас приняли, показали свои новые бумаги, и тетя Лиза радовалась вместе с нами.

— А теперь что? — спросила она.

— Мы обязаны доложиться в НСБ, чтобы нам выдали какую-то добавку.

Но для этого нам, разумеется, предстояло где-то поселиться, скажем, в меблированной комнате, и всего бы надежнее, если бы нам помог в этом деле кто-нибудь из друзей.

— Ясное дело, это я устрою! — воскликнула фрау Грюгер и рассмеялась от души. История была как раз в ее вкусе. — Пре-

красно, лучше быть не может! — восклицала она снова и снова, когда мы рассказывали ей о своих похождениях.

Мы вручили ей заполненные бумаги. Ни один из ответов не соответствовал действительности. Например, я прибавила себе возраст.

— А это еще зачем?

— Чтоб я могла покупать сигареты и спиртное!

В ту пору это был самый подходящий товар для обмена на продукты, но выдавали их лишь лицам старше 25 лет. И фрау Грюгер снова захохотала. Мать же представилась вдовой, взяв девичье имя своей бывшей школьной подруги, а родилась она якобы в Мезерице. Лично я предпочла Губен. Мы хорошенько обдумали, как избежать расспросов по поводу наших анкетных данных в бюро регистрации. Поэтому все упомянутые в документах места должны были уже находиться у русских. Последним местом проживания мы назвали Губен, площадь Ам Маркт, 4. Мне удалось вспомнить, что когда-то у нас дома висела гравюра, изображавшая Губенскую ратушу с прилегающими домами и подписью «Ам Маркт». Фрау Грюгер заверила наши бумаги и подтвердила свое согласие принять нас в качестве жильцов. Подпись хозяина дома она подделала. Это показалось нам надежнее, чем ходить и просить. Мы пообещали ей пользоваться ее гостеприимством самое недолгое время. Главное начать. Взяв подписанные документы, мы отправились в НСБ округа Шарлоттенбург. Мать спокойно предъявила бумаги и попросила дать разрешение на проживание.

— Так вы из Губена, говорите? — Чиновница внимательно поглядела на нас и сказала: — Но ведь вам для расселения назначен Остхафельланд.

— Я знаю, — ответила мать, — но здесь у нас живут родственники.

Чиновница еще раз поглядела на нас:

— Но почему вас занесло именно в Берлин? А если здесь что-нибудь случится?..

Мать удивленно спросила:

— А что здесь может такого случиться?..

— Ну, Берлин, к примеру, могут взять в кольцо...

Мать устала на нее с непонимающим видом:

— Быть того не может! Наш фюрер этого никогда не допустит!

Мне стоило большого труда удержаться от смеха. Лицедейские таланты матери потрясли меня. Можно было безо всякого, прямо сразу поверить, что она высказывает свое искреннее мнение. Служащая из НСБ опустила голову и покраснела от растерянности. Впору опасаться, что ее слова могут расценить как пораженчество. А за пораженчество теперь полагалась смертная казнь.

— Ну конечно, конечно, вы правы, — горячо подхватила она, — вы совершенно правы!

После этих слов все пошло очень быстро. Чиновница поставила печати на наши бумаги и посоветовала сразу же пойти в полицейский участок и в бюро по раздаче карточек. Мы поблагодарили и вышли.

— Не смейся! — шепнула мне мать. — Надо отойти подальше. После чего мы посмеялись от души.

С драгоценными бумагами мы пошли в полицию, где нас без лишних разговоров занесли в картотеку. Еще одна печать, и наше прибытие было окончательно легализовано. В бюро, ведавшем раздачей продовольственных карточек, я просто не могла поверить своим глазам — как много нам полагалось талонов, карточек и купонов.

— Мы не могли бы еще чем-нибудь вам помочь? — спросили у нас. — Вам одежда нужна?

— Еще как нужна! — ответила мать. — Когда мы бежали, то смогли взять с собой только самую малость, да еще у нас украли чемодан.

Дамы из бюро очень нам посочувствовали, и мы получили карточки на все, что нам только пришло в голову. Хотя некоторые из них так и не удалось отоварить — тогда в Берлине мало что можно было получить по карточкам.

Я хотела немедля сообщить Вейдту о перемене в нашей судьбе. Придя в мастерскую, я впервые застала Вейдта веселым, как в прежние времена. Он улыбнулся мне с плутовским видом:

— Али в Берлине!

Я так и подскочила:

— Где, как, что, рассказывайте!

Он попросил меня говорить потише и рассказал, что съездил в Освенцим. Это произошло вскоре после того, как от Али пришла открытка, где она сообщала, что из Терезиенштадта ее перевели в Освенцим. Вейдт сам туда поехал. Там он снял комнату на свое имя, заплатил за несколько месяцев вперед и оставил одежду и деньги для Али. Некоторое время Вейдт провел в Освенциме. Каждый вечер он стоял перед воротами лагеря, поджидая вольнонаемных рабочих, которые могли свободно входить и выходить. Через несколько недель он заприметил наконец одного поляка, который сумел разыскать Али. Вейдт сунул ему небольшую сумму, и поляк согласился передать Али письмо, принести ответ и доставить ей некоторые лекарства, перевязочный материал и укрепляющие средства. Итак, Али узнала, что в городе ее ждет комната. Когда лагерь эвакуировали перед наступлением советских войск, Али удалось вместе с подругой ускользнуть из лагеря, забрать оставленную для нее одежду и добраться до Берлина. В Берлине Вейдт сразу же ее спрятал, благо теперь война и в самом деле не могла продлиться дольше нескольких месяцев.

Больше всего меня тревожило положение на фронтах. Русские надвигались с востока, американцы и англичане — с запада. «Нам надо опять перебираться в Потсдам», — сказала я матери, потому что мне не хотелось жить в осажденном Берлине. Ее это не волновало. Она была твердо убеждена, что уж теперь-то ничего дурного с нами случиться не может. Но я хорошо помнила бомбежки. Осада города наверняка будет еще ужаснее. А в Потсдаме с его садами и палисадниками все так мирно и тихо. «Мы ведь можем вернуться в наш козий хлев, к фрау Фабиг». Приехав в Потсдам, мы сказали фрау Фабиг, что теперь у нас все в порядке и больше нет причин дожидаться конца войны в другом месте.

Фрау Фабиг была вполне с нами согласна. Она даже обрадовалась, что снова увидела нас. Одной уж очень тоскливо да и страшновато. Мы предложили ей зарегистрировать нас в полиции. Это ее тоже устраивало. Она написала на нашей анкете «вторичное оформление». В Потсдаме нас зарегистрировали как беженцев из Губена. Вот теперь мы почувствовали себя уверенно и снова начали каждое утро ездить в Берлин на работу, а вечером возвращались обратно. Впрочем, мы это делали толь-

ко ради безопасности, потому что в Берлине у нас уже была новая, «настоящая» квартира. «Где — не играет роли, — сказала я матери, когда мы подыскивали меблированную комнату. — Подолгу мы там сидеть не будем». И мы начали читать на стенах домов, заборах и деревьях объявления о сдаче или поиске жилья.

«Людвиγκирхштрассе, 6, меблированная комната на пятом этаже, на двоих, спросить Хелльвега». Расположение было удачное — близко от железнодорожной станции, вроде бы не очень дорого, а кроме того, довольно далеко от нашего прежнего жилья, и, значит, нет риска, что нас кто-нибудь узнает. Мы вошли. Дверь нам открыл сам господин Хелльвег — мужчина примерно лет сорока пяти. Мне показалось странным, что его не призвали в вермахт. Он показал нам комнату. Договорились о плате. Если пожелаем, можно въехать прямо завтра. Мы пожелали. Свои вещички мы забрали из комнаты Линке и решили прожить здесь по крайней мере несколько дней.

— Вам надо зарегистрироваться в полиции, — напомнил нам господин Хелльвег.

Я спросила, когда он бывает дома. Мы заполнили анкеты. Вечером я постучала к нему и разложила перед ним все бумаги. Тут, как уже не раз бывало, погас свет.

— Черт подери! — воскликнул он и зажег свечку. — Мне не видно, что я подписываю.

— Я могу прийти и завтра! — предложила я.

— Да ну, чего там, — отмахнулся он, — уж наверно, вы не евреи и не поляки. — После чего взял ручку и подписал.

Я коротко поблагодарила и вышла из комнаты. Меня душила ярость. Мать винила нас обеих в том, что мы мало искали и согласились на первое же предложение. А что, если он вздумает выяснять, кто мы такие? Я пыталась ее успокоить. В конце концов, это ненадолго. Покуда мы так спорили и прикидывали, верно мы поступили или нет, началась воздушная тревога. Я так и подскочила. Сидеть на пятом этаже было очень страшно. Я начала торопить мать.

«Живей! Живей!» И в самом деле, почти сразу после объявления тревоги начали стрелять зенитки. Задыхаясь, мы влетели в бомбоубежище. Ответственный по противовоздушной обороне приветствовал нас, новых жильцов, и, желая успоко-

ить, сказал, что мы уже внесены в списки. И пошутил, что, если дом рухнет, нас непременно будут искать. Я посмеялась из вежливости. Мы сели. И вдруг я со страхом увидела в углу человека, у которого на пальто была еврейская звезда. Он сидел не поднимая глаз. Рядом сидела его жена, надо полагать, арийка. У меня стало очень муторно на душе, мне так хотелось погладить его...

«Перестань туда пялиться!» Мать была вне себя. Я послушалась, чувствуя себя при этом ужасно виноватой.

## «НЕ ПРОПАДАЙ»

20 апреля мы покинули Берлин. В этот день первый раз рев, гром и грохот орудий слышались уже в самом центре города. По радио объявили, что впредь право пользоваться городским транспортом имеют только владельцы красных удостоверений. А мои стали недействительны, хоть зеленое, хоть желтое. Словом, если мы не желали пережить конец войны в Берлине, это была для нас последняя возможность покинуть город.

Казалось, еще немного, и Берлин превратится из города в кучу строительного мусора. Там, где стояли дома, теперь были развалины. Из них торчали искореженные стальные балки, которые превращали кварталы в некий сюрреалистический пейзаж. Одинокó высились уцелевшие дома. Фанера и картон заменяли выбитые окна, из которых торчали печные трубы. Фасады, испещренные следами осколков, были похожи на крепостные стены после штурма. Дыры и воронки в асфальте свидетельствовали о граде бомб, который обрушивался на город с 1943 года, а в последние месяцы, перед самым концом войны, стал еще беспощаднее.

Американские и английские самолеты бомбили город, почти не встречая сопротивления. Противовоздушной обороны фактически не осталось. А люди как-то продолжали жить. Они вели себя, словно мыши, которые возятся под полом и, только когда рассветет и станет не так опасно, вылезают на поверхность и шныряют повсюду в поисках пищи. Выжить — таков был тогдашний девиз.

«Не пропадай!» — говорили теперь люди друг другу на прощанье. Лишь один раз, 19 апреля 1945 года, когда сообщили о смерти президента Рузвельта, снова мелькнула робкая надежда,

что все, может быть, обойдется, хотя никто не мог сказать, с чего вдруг. Но этот слабый огонек надежды быстро угас.

Мне было страшно. Американские и английские налеты меня вконец измотали. Стоявшие на углах танки и заграждения из детских колясок и старых трамвайных вагонов вызывали тревожные мысли. И потому я решила дождаться конца войны в нашем козьем хлеву среди садов и маленьких домиков. Правда, и там уже не было спокойно: несколько дней назад Потсдам пережил первую бомбежку. Причем этот налет оказался особенно страшным: местные жители уже привыкли, что Потсдам не бомбят, а потому и не стали спускаться в убежище. Наш маленький поселок сильно пострадал. Судя по всему, самолеты хотели разбомбить железнодорожные пути, но «рождественские елки», так называли осветительные шашки, которые сбрасывали с самолетов, должно быть, занесло к нам. Наше маленькое укрытие раскачивалось, словно челн в бурю.

«Неужели в Берлине все время так было?» — с ужасом воскликнула фрау Фабиг после первых разрывов бомб. Ночью стало светло, как днем, а вокруг нас бомбы с грохотом падали на маленькие домики либо взрывались в садах. В поселке тоже было несколько жертв. А с козьего хлева, по счастью, лишь сорвало несколько черепиц. На другой день я с большим трудом залатала крышу картоном и черепицей, которые кто-то принес для «Рихтеров». Лишь в ту первую тревожную ночь многие в Потсдаме наконец поняли, что представляли собой многолетние бомбардировки Берлина. А мы-то ведь считались жертвами этих бомбардировок.

Мать наконец послушалась моих настойчивых уговоров покинуть Берлин. Благодаря нашим фальшивым документам мы теперь сами могли выбирать, где нам жить. А в остальном для нас почти ничего не изменилось. Я по-прежнему работала в книжной лавке у Кёнига и время от времени подрабатывала в молочной лавке, а моя мать все так же учительствовала. Ставши Рихтерами и раздобыв нужные документы, мы чувствовали себя уверенней, чем в нелегальные годы. И прежде всего неоценимым сокровищем для нас были продовольственные карточки.

Мы просто не понимали, как люди могли жаловаться на скудость пайков. Для нас это было даже много по сравнению с тем, чем мы располагали все эти годы.



Короче, мы еще раз уложили свой жалкий скарб и поволокли его на спине и в больших сумках к ближайшей станции. Тащили в основном продукты: пакетик манки, немного муки, несколько картофеля, уголь и штопаное-перештопаное белье.

Теперь поезда на Потсдам ходили редко. Расписание уже давным-давно ничего не значило. А когда со стуком и лязгом подходил поезд, он бывал до того набит, что казалось невозможным ехать в нем даже стоя. Каждый тащил с собой одинаковые пакеты. И каждый нервничал, был молчалив и растерян. Да и что тут было говорить? Кто теперь верил в окончательную победу? Пораженцев надо безжалостно расстреливать! — призывали власти. И многие из тех, кто все же позволял себе «предательские высказывания», с хрипом выталкивали из легких последний воздух, болтаясь на фонарном столбе, где их для устрашения оставляли висеть на несколько дней с дощечкой на груди: «Я предавал свой народ».

От Потсдамского вокзала до нашего поселка было верных двадцать минут пешком. Трамваи уже давно не ходили. Пакеты и сумки висели на нас тяжелым грузом. Сделав над собой усилие, мы попросили помочь одного из многочисленных иностранных рабочих — русских, поляков, французов, которые искали в Потсдаме случайную работу. Этим людям приходилось хуже всех, потому что их и без того жалкие лагерные бараки были по большей части разрушены бомбежкой. О них теперь никто не заботился. Лагерных охранников давно призвали в фольксштурм. А непрекращавшиеся военные действия не позволяли рабочим уехать домой. Какой-то русский быстро подхватил наши вещи, хотя наверняка был такой же оголодавший, как и мы. Я решила, что его надо подбодрить, и поздравила с близким концом войны и пожелала поскорее вернуться домой. Он с ужасом посмотрел на меня и сказал, что для него это катастрофа и он все еще надеется на победу Гитлера. Генерал Венк со своей армией уже двинулся на защиту Берлина. Сам же он украинец и ненавидит московский режим. Я испуганно смолкла. С этой минуты мы говорили только про погоду, а на прощанье он поцеловал руки нам обеим.

«Вот так. И теперь мы отсюда никуда не уйдем, пока не кончится война», — сказали мы фрау Фабиг.

«Это вы серьезно? — И еще: — Лишь бы только русские не пришли». Эти слова звучали, как эхо, после каждой ее фразы. Рассказы о злодеяниях русских опережали их наступление и чуть ли не оправдывали Гитлера, который воевал с ними и так много их уничтожил. Ничего не подозревая, исполненная надежд, я называла эти разговоры нацистской пропагандой. «Вот Хут должен это знать», — сказала старушка. Хут, ее сосед, был коммунистом еще до Гитлера и наверняка станет им снова. Я рискнула поговорить с Хутом через забор. Лицо его сияло, и он без всякой опаски с гордостью говорил об успехах Красной Армии. Бояться и впрямь было нечего, особенно в таком маленьком поселке, где все дома построили рабочие на свои скудные сбережения. Беседуя через забор, мы увидели, как наш сосед, господин Людвиг, прошмыгнул в свой сад по другую сторону нашего участка. Это был высокий, широкоплечий мужчина, с темными, вечно сальными волосами, при очках в проволочной оправе и с недобрый, бегающим взглядом. Он был в поселке ответственным за противовоздушную оборону, ответственным по кварталу, занимал и партийные должности, как и его жена. Теперь он шнырял по своему участку, озираясь по сторонам. Нас он видеть не мог. Господин Людвиг открыл сарай, достал оттуда лопату. Снова прислушался. И, решив, что вокруг никого нет, торопливо вырыл яму, в которую что-то бросил. Потом засыпал яму, утрамбовал землю и скрылся в своем доме.

Впоследствии польские рабочие из трудового лагеря, расположенного неподалеку, выкопали то, что он зарыл, — партийные билеты и прочие документы, которые свидетельствовали о партийной принадлежности господина Людвиг и его жены. Поляки пришли и к нам, когда их немецких охранников отозвали перед началом боев за Потсдам. Они все хорошо знали жителей поселка.

«Никак не можем понять, откуда вы. Кто вы такие?» — спросили они. Я ответила. «Назови мне всех нацистов в поселке». Я назвала и таким образом выдержала испытание. Немного спустя они подожгли дом хозяина бакалейной лавки, который даже сейчас отказывал им в продовольствии. Из подвала вырвались зеленые языки пламени. «Вы только поглядите, сколько у него еще оставалось жиров», — без тени сочувствия говорили жители, потому что им он тоже ничего не продавал.

Следующие два дня женщины бегали от одной лавки к другой и покупали все, что им причиталось по талонам. Некоторые двинулись с тачками к заброшенному лагерю Организации Тодт\* и вернулись оттуда с мешками сахара и муки, а кое-кто даже с целыми рулонами ткани на форменную одежду.

Гул орудий все приближался. Вечером 22 апреля я пошла к ближнему шоссе, которое ведет через Ребрюкке в Потсдам. Днем раньше его в некоторых местах взорвали и кое-как перекрыли. Десять шестнадцатилетних ребят из гитлерюгенда, которые теперь числились за фольксштурмом, таскали строительный мусор и заверяли, что эта преграда задержит русских до появления легендарной армии Венка. Никто не знал, где, собственно, находится эта армия и есть ли она вообще. Но все говорили, что она спасет столицу, взятую в кольцо. «А еще у каждого из нас есть по два фаустпатрона», — с детской гордостью сообщили нам ребята.

На другое утро я начала считать залпы. После двадцатого воцарилась недолгая тишина. А потом... потом я вполне отчетливо услышала — я вбирала в себя эти звуки, прислушивалась снова и снова, не могла поверить своим ушам, готова была кричать от облегчения — услышала лязг русских танков. Он и по сей день звучит у меня в ушах. Я выбралась из убежища. Для меня война закончилась, хотя соседи меня предостерегали, говорили, что в ближнем лесочке стоят части СС и, дайте только срок, — разделаются с русскими. Но я была очень счастлива в тот день и уже пыталась представить себе, как будет выглядеть нормальная жизнь. Пыталась — и не могла.

Со счастливой улыбкой я встретила первого русского солдата, который заглянул в наш поселок. Он шел медленно, кривоногий, с типично монгольским лицом, раскосыми глазами и высокими скулами. Солдат хитро улыбался. Его мундир при всем желании нельзя было назвать чистым, пилотка сидела косо. Покуда он стоял и пялился на меня, я пыталась завязать с ним разговор. Ничего не вышло. Солдат молча продолжал пялиться. Потом с любопытством заглянул в наш хлев. Я предло-

---

\* Организация Тодт была учреждена для выполнения строительных задач, имевших военное значение.

жила ему что-то попить. Он отказался. Стоял и не сводил с меня глаз. Однако я ничего не боялась. Я просто была счастлива. После обеда пришли и другие русские солдаты. Ходили вокруг осторожно, с винтовками наперевес. Я стояла и смотрела на них. Я искала человека, который разделит со мной мою радость.

Вдруг один из них вышел вперед, схватил меня за пальто и сказал: «Ком, фрау, ком!» Сперва я вообще ничего не поняла. Это еще что значит? Но вдруг издали донеслись крики: «Насилуют! Грабят! Помогите!»

Я вырвалась и припустила бегом. Задыхаясь, прибежала к матери. «Значит, это все правда, — сказала она и добавила: — Надо показать им наши еврейские удостоверения, те, что мы прятали в хлеву. Они поймут!»

Но они ничего не поняли. Они даже прочесть наши удостоверения не могли.

В тот день мне еще несколько раз приходилось скакать через канавы и изгороди, продираясь сквозь кусты, прятаться. Вечером мы решили перебраться в дом к нашей хозяйке. Может, старая седая женщина сумеет уберечь нас. Еще не совсем стемнело, когда мы услышали, как солдаты вышибают двери ружейными прикладами, до нас донеслись крики женщин и выстрелы. Пришли и к нам. Направив на меня револьвер, один из русских погнал меня перед собой. Мать бросилась между нами, я закричала и как-то сумела ускользнуть в темноте. Ночь выдалась ужасная.

Стало ясно, что мне надо прятаться — снова прятаться. На чердаке соседнего дома — там жили Хенце — мы с другими девушками, женщиной, которую изнасиловали, и ее мужем провели несколько дней. Поесть мы спускались вниз, а мать и тетя Лиза стояли на страже и давали знать, если к дому приближался советский солдат. Тогда мы быстро карабкались по лестнице наверх, встаскивали ее за собой, закрывали чердачный люк и ставили на него ведро воды, чтобы она вылилась на голову тому, кто полезет сюда. Как-то раз одна из девушек замешкалась, и мы еще не успели закрыть чердак, как в дом ворвались двое русских. Они подошли к люку и сказали: «Да дойчер золдат!». И один из них выстрелил в люк. Мы прижались к скату крыши. Тетя Лиза крикнула, чтобы мы спускались. Мы

тут же открыли люк, опустили лестницу и, пока солдаты соображали в чем дело, проскользнули мимо них и убежали.

А мужчину, который был «дойчер золдат», они увели с собой. Но потом его отпустили, так как он сумел доказать, что никогда в жизни не служил в армии.

Мать полагала, что наше прошлое дает нам право на защиту. И вместе с тетей Лизой пошла в русскую комендатуру, откуда вернулась с сияющим лицом. Их сразу провели к коменданту, тот пришел в восторг, наконец увидев настоящих антифашистов, извинился перед нами за «недоразумения». Но и он не видел никакой возможности помочь нам. Комендант сказал, чтоб мы сами себя защищали. Он не в силах приставить к каждому солдату полицейского. Слишком велика ненависть к немцам, чтобы можно было обуздать чувство мести.

В тот же день к нам заявили два русских солдата. Они вежливо постучали и сообщили, что пришли от коменданта. Сказали, что оба они евреи, приветливо улыбались. Мать велела мне слезть с чердака. Мы все уселись за кухонный стол и стали разговаривать с помощью жестов и фраз на идише. Солдаты много смеялись. Потом один из них обернулся ко мне и сказал, что был бы рад сыграть со мной «хасене»\*. Мы с матерью сделали вид, будто не понимаем этого слова. Они вскочили, их приветливые лица стали злобными.

«Никакие вы не евреи!» — закричал один из них и выстрелил в воздух. Покуда мать и тетя Лиза пытались их успокоить, я убежала и снова спряталась.

А 1 мая к нам заявилось само начальство. Сидя на чердаке, я слышала, как мать кричала тете Лизе, что к нам приехал комендант. Тетя Лиза поспешила к дверям. Комендант был настолько пьян, что лишь с трудом мог пробормотать «медхен»\*\*. Спровадить его никак не удавалось. Он сел на чужой велосипед и счастливый, как ребенок, уехал. На руке у него болталось несколько часов — любимая добыча русских солдат. С того дня я вообще не осмеливалась покидать чердак. Один раз мне даже пришлось слышать, как советский солдат, паля в воздух, вошел

---

\* Хасене — свадьба (*иврит*).

\*\* Медхен — девочка, девушка (*нем.*).

в наш дом и попытался изнасиловать мою мать. Каким-то образом ей удалось выманить его на улицу и убежать.

Я часто слушала «сталинский оргán»\* и пыталась по направлению выстрелов угадать ход боевых действий. Снаряды с шипением пролетали над нашим домиком, сперва в направлении Потсдама, потом — Берлина. А между залпами что-то стрекотало, трещало, громыхало — это был шум войны. Мы утратили всякий контакт с окружающим миром. Не знали, какое сегодня число и что происходит вокруг нас. Включать радио было так же бессмысленно, как и пытаться налить воды из крана.

А потом вдруг воцарилась тишина, зловещая тишина. Все застыло, казалось, животные не смели больше подать голос и вообще на земле не осталось ни единого человеческого существа, да и сама земля стала иной, непохожей на ту, что мы знали до недавних пор. Я лежала на жестком, набитом соломой тюфяке и слушала тишину. Сквозь чердачный люк я видела, что занялся день. Вдали, там, где лежал Берлин, небо было окрашено красным. Я только не могла понять, что это — зарево пожара или утренняя заря. Важнее было узнать, что означает тишина. Проснулась моя соседка, и мы стали разговаривать. Но шепотом, словно боялись спугнуть тишину. Наш распорядок дня определял «сталинский оргán» — его жуткий вой, раздававшийся через равные промежутки времени. Теперь он молчал. Случилось то, чего я так долго и так страстно ждала: война окончилась. Но радоваться я больше не могла.

---

\* «Сталинский оргán» — так немцы называли «катюшу».

## ПОСЛЕ

Война кончилась. Но что это означало? Мы голодали, как и все немцы. И, подобно им, не знали, что будет дальше. Мы по-прежнему носили фамилию Рихтер и понятия не имели, как вернуть настоящую. А я тяжело заболела. Казалось, будто физических сил во мне хватило ровно до конца войны. Теперь же они иссякли. Чувство безнадежности, которое мы испытывали, тоже сыграло свою роль. Света не было. Слушать радио мы больше не могли. Газеты не выходили. Однако нам стало известно, что увидели английские солдаты в Берген-Бельзене и что творилось в Освенциме. До этого мы, правда, слушали передачи Би-би-си о зверских злодеяниях нацистов, но то, что мы узнали сейчас, было слишком чудовищно, чтобы постичь это разумом. И однако же это была чистая правда. Друзья, родные, знакомые — никого из них не осталось в живых, они были убиты с чудовищной жестокостью. Я вспоминала все новые и новые имена. Я вспоминала лица людей, которых никогда больше не увижу, людей, которые не совершили ничего дурного, но должны были умереть просто потому, что они евреи. Я безудержно плакала, и меня снова и снова охватывала ужасная, безысходная тоска.

Мать пыталась держаться. Пыталась отвлечь меня, сомневалась в правдивости этих сообщений. Но по ночам я слышала, как она рыдает в подушку. Об отце мы ничего не знали, хотя почтовое сообщение было восстановлено. Мать меняла на продукты остатки своих вещей. Фрау Фабиг выделила ей клочок земли, чтобы сажать овощи. Позднее, когда мне уже разрешили лежать в саду, я глядела, как она копает землю и делает грядки. Помочь я ей не могла, и это приводило меня в еще большее

отчаяние. Я очень медленно выздоравливала. Надо было заново учиться ходить. Когда спустя два месяца я смогла, опершись на палку, сделать первые шаги, это был для нас настоящий праздник. Никакого снабжения не было. Мы голодали. И на что жили, я теперь сказать не могу. Каждому приходилось раскидывать умом и добывать, что удастся. Но честным путем это едва ли было возможно. Как-то раз я пошла вместе с матерью на «промысел». Я только диву давалась, глядя, с какой скоростью она, орудуя на капустном поле, побросала в мешок 23 кочана. А когда я спросила, зачем так много, она равнодушно ответила: «Да кто ж это будет считать, когда ворует?»

Когда советские оккупационные власти начали создавать из немцев органы ограниченного административного управления, работать вызвались многие, те, кто хотел наконец установить порядок. Старого социал-демократа Вальтера Рика потянуло в Берлин. Я тоже надеялась найти там помощь, потому что не знала, что мне делать. Ни разу за все эти годы мы не думали про день «после», потому что нам приходилось все свои силы направлять на то, чтобы пережить следующий час, следующий день. Но сперва мне предстояло как следует окрепнуть, потому что в Берлин можно было добраться только пешком.

Один из наших друзей, доктор Таус, как-то раз сказал, что «после» я смогу пойти к нему секретаршей, поскольку он рассчитывает снова занять высокий пост в школьном управлении. Может, там и была такая возможность, но что-либо делать в этой связи я пока не могла.

По случаю предстоящей Потсдамской конференции, на которой должна была решиться судьба Германии, в середине июля 1945 года в Потсдам прибыли войска западных союзников. Американские и английские солдаты вызывали сенсацию, особенно среди женщин. Французы по части подарков таких возможностей не имели. Дочь семейства Хенце привела домой одного такого «Томми». Беседовать они не могли: она не говорила по-английски, он — по-немецки. Иногда меня просили выступить в роли переводчицы. Так вышло, что однажды я рассказала этому Эдди Метьюсу свою историю, упомянув при этом, что мой отец сейчас в Англии. Я совсем не рассчитывала, что англичанин примет близко к сердцу то, что мне пришлось пережить. Но Эдди, в прошлом водитель грузовика, только и



сказал: «Я все знаю, я освобождал Берген-Бельзен». И он предложил мне написать отцу письмо, чтобы переправить его через британскую полевую почту. Я дала ему адрес отца, который мы получили еще до начала войны. Эдди отправил письмо. И мы нетерпеливо, с волнением стали ждать ответа. Но каждый раз, приходя к нам, он еще издали отрицательно мотал головой. И вот однажды, субботним вечером, Эдди попрощался с нами. Потсдамская конференция завершилась 2 августа 1945 года. Теперь Потсдам входил в советскую оккупационную зону. Войска западных стран не имели здесь больше никаких прав. Их постепенно выводили. Эдди сказал, что не сможет нам помогать, поскольку, когда он окажется в британской оккупационной зоне, у них не будет контактов с остальными частями Германии. Итак, попытка восстановить связь с отцом тоже потерпела неудачу, что в ту безысходную пору показалось нам вполне естественным. Мы поблагодарили Эдди за его старания. А что мы еще могли сделать?

На другое утро, в воскресенье, перед участком фрау Фабиг остановился мотоцикл с двумя британскими солдатами. Один из них был Эдди. Он размахивал зажатым в руке письмом. Это был ответ от отца. Как рассказал нам Эдди, письмо пришло утром, когда британские войска уже готовились выступить и не имели права покидать пределы лагеря. Тогда Эдди доложил коменданту, рассказал ему всю нашу историю и попросил разрешения лично отвезти нам письмо. Комендант решил, что Эдди надо взять мотоцикл, вместе с товарищем съездить к нам, вручить письмо и сразу же последовать за своей частью, которая тем временем отправится поездом в британскую оккупационную зону.

Мы не успели поблагодарить Эдди — он уже снова сидел на своем мотоцикле, и оба они, Эдди и его товарищ, унеслись прочь, а моя мать все еще молча стояла с письмом в руке, словно боялась, что и оно обратится в прах, как уже обратились в прах множество наших надежд. Наконец она медленно вскрыла конверт и начала читать. 4 августа, в свой день рождения, отец получил письмо от Эдди и таким образом узнал, что мы живы. Письмо шло к отцу очень долго, потому что за время войны он переехал в Бирмингем. А его новый адрес мы не знали.

Итак, 13 августа сорок пятого года мы узнали, что мой отец жив и ждет нас. Нам показалось, что жизнь снова обрела смысл.

Разумеется, мы сразу же попытались получить разрешение на въезд в Англию. Мы с матерью пешком отправились в Берлин, чтобы похлопотать об этом в британской военной комендатуре. Через шесть часов мы пришли в город.

— А с чего это вы вдруг захотели в Англию? — спросил нас английский офицер.

Мать недоуменно поглядела на него.

— Я уже шесть лет не видела своего мужа, — спокойно ответила она.

— А я свою жену, — холодно отозвался англичанин, — на то и война.

Он явно не собирался хотя бы выслушать нас. Мы лишь узнали, что сейчас разрешение на въезд в Англию не дают никому, даже тем, у кого там есть близкие родственники.

Покуда я, чертыхаясь, спешила вниз по лестнице, мать пыталась хоть как-то оправдать англичанина, но потом убитым голосом сказала:

— Нам придется набраться терпения.

После первого письма от отца мы долгое время ничего о нем не слышали, а потому и не знали, есть ли у него возможность ускорить наш приезд.

Теперь стало ясно, что из козьего хлева в Потсдаме надо уезжать. Работу и хоть какой-нибудь доход мы могли получить только в Берлине. «И кроме того, я хочу избавиться от чужого имени. Я хочу снова жить легально. А здесь это невозможно. Что скажут люди в поселке, если узнают, что мы их обманывали?» — говорила моя мать, вновь воспрянув духом.

Мы начали прикидывать, не стоит ли нам похлопотать о временном жилье в Потсдаме. «Жертвы фашизма», как это называлось, имели право на известные преимущества. Пока эти преимущества заключались в выдаче моркови. Поговорили мы и с Вальтером Риком, которому понравилась наша идея; он сказал, что мы, пожалуй, могли бы вместе снять дом. Ему и его домашним осточертело жить в тесных меблированных комнатах. Рик и его семейство тоже считались жертвами фашизма, потому что нацистский режим объявил его «врагом государст-

ва» и лишил возможности работать учителем. Лиза Холлендер тоже входила в эту категорию. И мы все отправились в жилищное управление. Встретили нас там на редкость обходительно. «Садитесь, пожалуйста. Ну конечно же для вас есть квартиры. Нацисты бросают все как есть и удирают», — с готовностью объяснили нам сотрудники управления.

Вскоре после этого я снова отправилась в Берлин, чтобы решить вопрос с переездом и поискать работу. Для начала я разыскала доктора Тауса, который жил в районе Ваннзее, ближе всего к нам. Я напомнила ему прежнее обещание, впрочем, он и сам прекрасно все помнил. «Ну, конечно, ты можешь у меня работать», — сразу ответил он, хотя знал, что, по сути, я ничего не умела делать. Когда я выразила ему свои сомнения, он начал меня подбадривать и заверил, что я наверняка справлюсь. Таус рассказал мне, что в новой организации, которую собираются назвать Центральным управлением народного образования, ему предлагают место руководителя отдела. И с сентября я вместе с ним могу приступить там к работе. Я с восторгом дала согласие. Да, но как перебраться в Берлин? Пригодного жилья из-за бомбежек стало так мало, что всякий переезд в Берлин был запрещен. Доктор Таус, однако, полагал, что и в этом сможет мне помочь. Словом, он обещал гораздо больше, чем я могла ожидать.

Я заночевала у Таусов. А на другой день мы отправились искать меблированную комнату. Поскольку, несмотря на отрицательный ответ, который мы получили в британской военной комендатуре, можно было все-таки надеяться, что через некоторое время мы уедем к отцу, мне показалось бессмысленным снимать целую квартиру. Да и обставлять ее нам было нечем. Все наши вещи в контейнере давным-давно погибли при бомбежках. Правда, моя мать еще об этом не знала. За годы войны во время наших мытарств я так и не посмела ничего ей сказать. С комнатой мне тоже повезло. У знакомой дамы на Оливаерплац я нашла по тем временам вполне подходящую комнату, которую тотчас и сняла. Окрыленная своими успехами, я пошла назад в Потсдам.

Добравшись до нашего хлева, я увидела открытую дверь. В хлеву никого не было. Я окликнула мать, но никто не отозвал-

ся. Я никак не могла понять, что это все значит, но тут распахнулось окно в соседнем доме.

— Ваша мать здесь больше не живет, она переехала в квартиру фрау М.! — сердито крикнула соседка и снова захлопнула окно.

Я побежала туда.

— Это что значит? — спросила я у матери, которая с довольным видом открыла мне дверь.

— Фрау М. занимала большой пост в партии. У нее отобрали квартиру и передали нам. — Так она объяснила мне свой неожиданный переезд.

— Ну как ты могла согласиться? Каково мне жить среди мебели, которая, может, принадлежала другим людям, ведь не исключено, что ее отняли у евреев! — возмущенно закричала я.

Я чуть не плакала от отчаяния. В ответ мать лишь заметила, что все равно не могла бы оставаться в этом хлеву, который почти развалился и стал совсем непригодным для жилья. А впереди зима. Наверное, ей необязательно показывать мне свои обмороженные руки и ноги.

— А фрау М. так и так пришлось бы расстаться с квартирой, — заключила мать. В жилищном управлении ей предложили именно это помещение, и решать надо было сразу, не то оно досталось бы другой жертве фашизма. Зачем ей было отказываться?

При первой же возможности я снова отправилась в Берлин, чтобы ускорить наш переезд. В маленьком поселке, где, разумеется, ничего нельзя было скрыть, я не могла больше вольготно себя чувствовать.

После подачи заявлений и нескольких собеседований нас признали «жертвами фашизма». То, что мы и в самом деле были ими, без труда удалось доказать с помощью наших удостоверений, помеченных буквой «J», и свидетельскими показаниями Вальтера Рика и Лизы Холлендер. Как удалось доказать и то, что наша настоящая фамилия Дойчкрон, а документы на фамилию Рихтер мы раздобыли обманным путем. Во время разбирательства я убедилась, что мы легко могли бы оставить себе документы на Рихтеров. Признание нас жертвами фашизма дало мне и матери известные льготы. Теперь мы получали рабочие

продуктовые карточки, имели право на жилье, помощь в поиске работы и прочую поддержку.

Тем временем в Берлине обосновались зарубежные еврейские организации, которые раздавали евреям продукты и одежду. К концу войны в Берлине осталось около 12 000 евреев. Из них 1200, подобно нам, уйдя в подполье, сумели пережить Третий рейх. Несколько тысяч евреев состояли в смешанных браках и по этой причине не были депортированы. Кроме того, имелись тысячи Displaced Persons\*, размещенных в лагерях вокруг Берлина. Через еврейские организации мы иногда получали посылки и письма от моего отца, который подал заявление, чтобы нам разрешили въезд в Англию.

В середине сентября я по уговору с доктором Таусом начала работать его секретарем в Центральном управлении народного образования в советской оккупационной зоне. Располагалось это управление в бывшей рейхскультуркаммер\*\* на Вильгельмштрассе. Пользоваться можно было лишь одним крылом здания, которое наскоро отремонтировали. Поначалу мы работали при лампах, потому что разбитые окна были заколочены досками. На мебели виднелись следы огня и воды. Некоторые помещения приходилось отапливать чугунными печками. В обязанности секретарши входило следить за тем, чтобы огонь в них никогда не гас. Уголь, который нам выдавали, мы хранили в ящиках письменных столов и в шкафах для бумаг, а бумаги держали просто на столешницах. Поскольку жителям топливо не полагалось, мой шеф и я носили домой уголь в портфелях.

Деятельность нашего управления охватывала пять земель советской зоны. Главой управления был коммунист Пауль Вандель. Он работал секретарем у Вильгельма Пика и вместе с ним вернулся из советской эмиграции. Руководство наше на 90 процентов составляли коммунисты, или освобожденные из концлагерей, или вернувшиеся из заграницы. Они и не думали скрывать свою партийную принадлежность. Да и с какой стати? Ведь было ясно, что антифашисты займут главные посты в

---

\* Displaced Persons — перемещенные лица (англ.).

\*\* Управление культурой рейха.

новом правительстве или управлениях. Их осталось немного. И они часто говорили, что КПГ совершила большую ошибку, когда в 1933 году отказалась выступить против Гитлера единым фронтом с социал-демократами. В нашем управлении кроме меня было еще несколько социал-демократов. Но я не чувствовала себя одинокой или отвергнутой. Среди коллег-коммунистов я встретила немало приятных, идеалистически настроенных людей. Им много пришлось выстрадать, и это связывало нас друг с другом.

Вскоре коммунисты начали агитировать за КПГ, которая так же, как и СДПГ, и ХДС, была в июне разрешена советской администрацией. Агитировали они в основном технический персонал, по большей части беспартийный. Они сулили им лучшие условия труда, но прежде всего — продовольственное снабжение. А продовольствие в ту пору было важнейшим средством платежа.

Один из сотрудников нашего отдела только тем и занимался, что добывал продукты для руководящих работников из коммунистов. Несмотря на все его усилия не слишком афишировать эту сторону своей деятельности, мы обо всем узнавали от ночного сторожа или от уборщиц. Поскольку вначале у нас не было производственного совета, я решила положить конец этой секретности, такие льготы казались мне величайшей несправедливостью. И когда прибыла очередная партия продовольствия, я подошла к этому служащему. «Я слышала, сегодня ночью приехал грузовик с мясом. Когда делить-то будут?» — громко спросила я, не замечая смущения, которое вызвала у него моя откровенность. Он пробормотал в ответ что-то невнятное, но мой демарш увенчался успехом. Мясо поделили между всеми сотрудниками. Так оно дальше и пошло, и с этого дня мне первой говорили о том, что приехал грузовик с продуктами.

Это обстоятельство плюс то, что я была членом СДПГ, вызвало неудовольствие со стороны коммунистических функционеров нашего управления. Как и коммунисты, я тоже не делала тайны из своих политических взглядов и связей. Да еще вдобавок ко всему я организовала молодежную группу. Мы ходили в походы, в театр или обсуждали многочисленные проблемы, которые принесло с собой новое время. Мое политическое

влияние среди беспартийных коллег было для многих коммунистических деятелей как бельмо на глазу. Хотя кое-кто из моих друзей в КПГ считали мое поведение правильным. Мне даже рассказали, что глава Центрального управления народного образования Пауль Вандель распорядился относиться ко мне хорошо, поскольку я — жертва фашизма. Лишь позднее я поняла, что пользовалась в то время свободой, которую обычно предоставляют дуракам и шутам. Ситуация заметно осложнилась, когда при поддержке советских оккупационных властей руководство КПГ начало форсировать объединение КПГ и СДПГ в партию рабочих, в Социалистическую единую партию. Когда сама СДПГ почти сразу после своего восстановления предложила такой же план объединения на основе общей судьбы, связанной с концлагерями и преследованиями со стороны национал-социалистов, отказ КПГ был мотивирован тем, что сперва, мол, надо провести идеологическое разбирательство в собственных рядах. Вероятно, КПГ вначале надеялась привлечь население на свою сторону. Но когда из этого ничего не вышло, а кроме того, стало заметно, что СДПГ приобретает среди людей большую популярность, КПГ, со своей стороны, выдвинула идею единой партии. В советской оккупационной зоне она могла провести это объединение без особых трудностей благодаря поддержке властей. А вот в поделенном на четыре сектора Берлине, которым управляли союзники, это уже было далеко не так просто.

В нашем управлении, расположенном в советском секторе Берлина, коммунисты сперва начали обхаживать немногочисленных социал-демократов. Некоторые из социалистов старшего поколения, подвергавшиеся преследованиям при национал-социалистах, побоялись новых репрессий и поддались на уговоры.

В нашей производственной ячейке СДПГ было лишь 15 членов против 150 коммунистов, причем большинство у нас составляли женщины. На совместных партсобраниях, которые проводила КПГ, на все лады восхваляли как великое счастье наконец-то обретенную возможность осуществить историческую мечту об объединении рабочего движения. Собрания эти, как правило, завершались поддержкой объединения, каковую следовало изъяснить поднятием руки. Когда я однажды высту-

пила с возражениями и вместе с коллегой проголосовала против, торжественное единодушие было нарушено. С этого дня деятели КПГ в нашем управлении не скрывали своего недоверия и неприязни ко мне. Что из этого могло впоследствии, я не знала. После нескольких лет нелегального существования, когда каждый день решался вопрос жизни и смерти, мне было безразлично, о чем думают партийные функционеры. Мысль о том, что едва обретенная свобода отдельного человека и демократический строй еще раз будут задушены, представлялась мне после опыта последних лет недопустимой. Поэтому я боролась со всем, что свидетельствовало об этой опасной тенденции, а у деятелей КПГ все к тому и шло. Со всей наивностью молодости и политической неопытности я пребывала в твердом убеждении, что и мои политические противники будут уважать мое право на свободное самовыражение.

1 марта 1946 года Центральный комитет СДПГ созвал в Адмиральском дворце собрание, в котором приняли участие деятели СДПГ всего Берлина. Я была в числе делегатов и слышала, как Отто Гротеволь\* все никак не удается убедить присутствующих в политической необходимости объединения с коммунистами. Большинство требовало тайного голосования в рамках СДПГ. Но состояться такое голосование могло лишь в трех западных секторах Берлина 31 марта 1946 года. 82 процента всех членов СДПГ проголосовали против объединения с КПГ. Я очень гордилась тем, что принимала участие в этом историческом собрании и внесла свой посильный вклад в дело сохранения свободы и демократии.

Число моих друзей в КПГ таяло на глазах. Многие даже избегали меня — из страха, как они шептали мне на ухо, когда полагали, что их никто не видит. Я этого понять не могла и прямо об этом говорила.

Как-то раз меня пригласили по телефону в 36-ю комнату нашего управления. Тут, между прочим, меня покинула обычная

---

\* Отто Гротеволь — глава Центрального комитета СДПГ в Берлине, а с 1946 года, после объединения СДПГ и КПГ, — сопредседатель СЕПГ (совместно с Вильгельмом Пиком). С 1949 года — первый премьер-министр ГДР.



уверенность. Я знала, что там сидит русский, представитель советской военной администрации, который наблюдал за деятельностью управления. Знала я также, что время от времени он вызывал к себе моего шефа доктора Тауса, после чего тот всегда возвращался молчаливый и подавленный. А когда я спрашивала, не случилось ли чего, он только отмахивался в ответ.

Человек, сидевший против меня в 36-й комнате, носил форму Советской Армии. Угадать его звание я не могла, потому что не разбиралась в знаках различия. Он свободно говорил по-немецки и приветливым, я бы даже сказала отеческим, тоном начал расспрашивать меня о моем прошлом и, выслушав мой короткий рассказ, произнес:

— Я слышал, вы политически активный человек. Почему же вы не член СЕПГ?

Я ответила, что нельзя состоять сразу в двух партиях, а я уже член СДПГ. Мой ответ его, разумеется, не устроил. Он еще раз спросил, почему я не стала членом СЕПГ. Когда я сказала, что в британском секторе Берлина, где я живу, СЕПГ вообще не разрешена, он заметил, что я, если захочу, могу состоять в СЕПГ по месту работы.

Мой ответ был короток:

— Но я не хочу!

Тогда он не без задней мысли спросил:

— Если бы у вас была возможность съездить в Советский Союз или в Соединенные Штаты, вы куда бы поехали?

Я ответила:

— Я с удовольствием съездила бы в Советский Союз. Я социалистка, и мне интересно поглядеть, как живет социалистическое государство. Америку я бы тоже охотно посмотрела, потому что без знаний и личного опыта трудно судить о пороках капитализма. — И с торжествующим видом добавила: — Но вот в Англию я действительно поеду, и довольно скоро.

Он навострил уши, ему захотелось узнать подробности. И я рассказала, что мы с матерью собираемся уехать в Англию к отцу.

— У вас что, есть сведения о вашем отце? — поинтересовался он, и тон у него стал резкий и суровый, поскольку он прекрасно знал, что почтовой связи с Англией нет, а немцам

строго-настрого запрещено просить солдат союзных армий передавать их письма. Ну конечно же мы просили их. А мой отец таким же способом отвечал нам.

Я отвечала очень холодно:

— Ну, разумеется, мы получаем письма от отца только через еврейские организации.

Он удовольствовался моим объяснением и очень скоро меня отпустил. Ему явно не понравилось, что я смогу за границей передать наш разговор.

Несколько дней спустя мой приятель-коммунист, который работал в отделе кадров, по секрету предупредил меня: «Русские затребовали твои бумаги в Карлсхорст\*. Значит, тебя собираются арестовать. Постарайся исчезнуть».

Я решила, что его предупреждение вызвано чрезмерной пугливостью, но на всякий случай справилась в нашем партийном центре и получила такой же совет. Тогда я срочно взяла отпуск, намереваясь затянуть его до самого отъезда в Англию. Поскольку я жила в британском секторе, мне можно было не опасаться посягательств советских тайных служб.

Мне было очень нелегко решиться покинуть Берлин. В первый послевоенный год этот город стал центром культурной жизни. Вновь заработали театры, опера, кабаре, выставки; буквально из ничего возникали новые идеи, рождались эксперименты, бурлила творческая жизнь. Мы встречали писателей, артистов, художников, чьи труды были запрещены при нацистах, а сами они подвергались преследованиям. Мы глотали запрещенные книги. Мы использовали любую возможность для развлечений, мы отплясывали ночи напролет, испытывая чувство необыкновенной легкости.

Связь с Гансом Розенталем, который так и прожил со своей матерью до конца войны на Ирранишештрассе при тюремной больнице, оборвалась сама по себе.

Он стремился как можно скорей уехать в Америку, к своему брату. Все, что он ни делал, что ни предпринимал, было подчинено этому желанию. А у меня были совсем другие интересы. Я

---

\* В Карлсхорсте располагалась советская военная администрация в Германии.

работала в молодежной группе СДПГ и чувствовала, как меня захватывает политическая деятельность. Моя энергия, которая все эти годы была направлена лишь на то, чтобы избежать опасности, освободилась для других интересов. Я могла просыпаться без страха и не думать о том, какие беды сулит грядущий день.

Мысль остаться в Берлине насовсем и отказаться от поездки все чаще и чаще приходила мне в голову. Меня чрезвычайно привлекала возможность участвовать в восстановлении жизни с нуля. Но в Англию мне тоже хотелось поехать. Она представлялась мне совершенно другим миром. Кроме того, я понимала, что просто обязана повидать отца, который за годы разлуки стал мне чужим. Словом, я пообещала своим берлинским друзьям не засиживаться в Лондоне дольше чем на полгода.

Но когда поездка в Англию начала обретать реальные очертания, еврейская благотворительная организация, которая ее устраивала, сообщила, что дорогу мы должны оплатить сами. А необходимых для этого средств у нас, разумеется, не было. Об этом я как-то даже и не подумала. В ту пору деньги так мало значили... Мы обе жили на мое жалованье, и на небольшие расходы этого вполне хватало. А покупать все равно было нечего.

Можно считать великим чудом, что это последнее препятствие удалось преодолеть. Мы получили посылку из Америки, где кроме всяких полезных вещей было сто сигарет. А цена одной сигареты на черном рынке составляла в ту пору 10 марок. Вот этими деньгами мы и смогли оплатить поездку.

Сама по себе она была мучительна. Под руководством молодой женщины в форме мы в составе группы перемещенных лиц, куда входило несколько бывших узников концлагерей и нелегалычиков, день и ночь ехали автобусом до бельгийской границы. Оттуда мы наконец смогли пересесть в поезд — до Остенде. А уж от Остенде отплыли пароходом в Дувр, куда и прибыли 2 августа 1946 года.

Чиновники английской иммиграционной службы встретили нас холодно, деловито и неприветливо. Мать получила специальную личную карточку для иностранцев, поскольку была женой много лет проживающего в Англии иностранца. Мне же всего лишь предоставили статус «неблагонадежного иностранца». Этот статус обязывал меня не задерживаться в стране дольше чем на полгода и запрещал трудоустройство. Я должна была

регулярно являться в полицию. Мне запрещалось покидать свой дом после полуночи, а если я хотела отъехать от Бирмингема на расстояние больше пяти миль, мне надлежало получить разрешение в полиции. Одежды и сладостей, которые в Англии пока выдавались лишь по карточкам, мне вообще не полагалось.

Этот прием стал для меня горьким разочарованием. Конечно, я не ожидала, что меня встретят с распростертыми объятиями как героиню, но я не ожидала и подобной дискриминации. Правда, один весьма авторитетный в Бирмингеме политик из Министерства внутренних дел добился впоследствии отмены этих унижительных ограничений, но горечь первого опыта осталась.

А все, что было потом, я хочу изложить вкратце, поскольку это уже не относится к столь важному для меня отрезку жизни под названием «Берлин».

В Англии я завершила свое школьное образование, которое мне пришлось прервать в Берлине. За несколько месяцев я сдала экзамены на аттестат зрелости и начала изучать языки в Лондонском университете. Но когда поняла, что на это уйдет несколько лет и что все эти годы отец должен будет меня содержать, я, недолго думая, прервала обучение и начала работать секретарем в лондонском бюро Социалистического интернационала. Но и в Англии меня не оставляла мысль вернуться в Берлин и помогать людям, которые спасли мне жизнь, в построении демократического государства. Пусть это прозвучит патетически и напыщенно, но человеческая солидарность, проявленная по отношению ко мне в суровые годы войны, налагала на меня известные обязательства. Однако сперва я по приглашению социалистических партий побывала в Бирме, Непале и Израиле. Проведя целый год в другом мире, с другими законами жизни, я в 1955 году вернулась в Бонн, где стала рассказывать о своих переживаниях и впечатлениях по радио и в газетах. В начале 1958 года израильская вечерняя газета «Маарив» искала корреспондента для Бонна, и я взяла на себя информационную службу, которая в последующие годы получила такой размах, что в 1960 году я была уже официально аккредитована как корреспондент этой газеты в Германии. В 1966 году я приняла израильское гражданство и с 1972 года работаю в Тель-Авиве, в главной редакции газеты «Маарив».

Таково непредвзятое изложение фактов под самый конец моего отчета, который я ни при каких обстоятельствах не могла написать как отстраненное воспоминание о моих берлинских годах, моем детстве и юности. Воспоминания обо всем плохом и хорошем, что я тогда испытала, независимо от моих записей оставались столь живыми и яркими, что даже и сегодня я не могу думать об этом без глубокого волнения. И потому нельзя назвать случайностью то, что я лишь тридцать лет спустя начала все это записывать, причем именно в Израиле. Думаю, это прозвучит банально, если я скажу, что Израиль стал для меня родиной. Главное же заключается в том, что Израиль вселил в меня чувства уверенности и надежности, чего я не знала всю предшествующую жизнь, ибо эти чувства могут появиться, лишь когда ты живешь в окружающем тебя мире без страха и сомнений.

Вернувшись в Германию, я увидела то, чего никак не ожидала. Бывшие наци и те, кто был ответствен за приход Гитлера к власти, занимали — пусть в демократическом окружении — важные посты. Неужто антифашистов было так мало? Я не могла это понять. Время Гитлера было, на мой взгляд, не просто несчастливым периодом в истории Германии, через который можно перешагнуть путем умалчивания. Гитлер с преступными целями вверг весь мир в чудовищную войну. При его правлении миллионы людей должны были умереть насильственной смертью. Миллионы были убиты лишь потому, что они евреи. И в этих убийствах, совершавшихся до последних дней войны, принимали участие тысячи немцев. А те немногие, кто с риском для жизни оказывал сопротивление или помогал «нелегальным» евреям и по мере сил облегчал страшную участь этих людей, остались почти незамеченными. То, что именно они проявили человечность в бесчеловечные времена, мало кого занимало. Я вскоре ощутила, что многие немцы, с которыми я общаюсь в Бонне, не понимают ни меня, ни мою позицию. Одним я была неприятна и неудобна как живой укор. Другие были настолько заняты своим настоящим и будущим, что не могли думать еще и о прошлом. Я задавалась вопросом: не слишком ли многого я жду от немцев, требуя, чтоб они понимали меня и возмущались чудовищным прошлым. Ответ на этот вопрос меня ужаснул. Я получала письма с угрозами, с эсэ-

совскими рунами, я выслушивала звонки с оскорблениями. Когда я рассказывала об этом немцам, они чаще всего пожимали плечами и говорили, что да, конечно, есть еще некоторое количество неисправимых людей. Главное же, они советовали мне не заикливаться на прошлом и не требовать этого от других. Вот уж такую установку я никак не могла понять, как не могу понять и по сей день, что люди оказались способны на столь зверские убийства. Казалось бы, этот ужасный вопрос должен терзать всех. Я начала чувствовать себя в Германии отчужденно, неуверенно и одиноко. И все мои друзья, которые меня понимали и разделяли мои взгляды, никак не могли мне помочь.

Но чем чаще за годы своей журналистской работы я ездила из Бонна в Израиль, тем больше я чувствовала себя там на своем месте. Я ощущала солидарность людей, я воспринимала, как мне казалось, вновь обретенную силу этой новой старой общности, дававшую мне уверенность, что евреи никогда больше не позволят убивать себя как бессловесную скотину. У меня не было чувства, что меня не понимают, как случалось в Германии. Здесь не надо было объяснять, почему я возмущаюсь тем, что при создании Федеративной Республики бывшие нацисты заняли важные правительственные посты, что убийцы тысяч евреев могут рассчитывать на милосердных судей и что немцы по сей день равнодушно взирают на творящиеся в мире злодеяния.

Там я обрела свой дом среди людей, либо переживших то же, что и я, либо нашедших в государстве Израиль те возможности состояться как личность, которых им не могла дать диаспора, и, подобно мне, обретших в этой стране спокойствие и уверенность. И вот этой уверенности угрожают с первых дней существования Израиля. Непоследовательная мировая политика отнюдь не уменьшила эту угрозу. И порой не всегда адекватная политическая реакция со стороны государства Израиль является не более чем выражением несогласия и нетерпения, нетерпения того народа, который слишком много страдал на своем веку и который теперь хочет твердо знать, что отныне его существованию ничто не угрожает.



## СОДЕРЖАНИЕ

*Станислав Рассадин. Люди, не сделавшие ничего особенного* . . . 5

### Я НОСИЛА ЖЕЛТУЮ ЗВЕЗДУ

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Ты еврейка                            | 11  |
| Беспокойные школьные годы             | 25  |
| Девятое ноября                        | 36  |
| Англия не отвечает                    | 45  |
| В Берлине гаснет свет                 | 57  |
| Мастерская слепых Отто Вейдта         | 72  |
| Преддверие ада                        | 84  |
| «Анкеты»                              | 93  |
| Переходим на нелегальное положение    | 107 |
| От убежища до убежища                 | 118 |
| В «безопасности»                      | 133 |
| Нас разбомбили                        | 143 |
| Человечное, слишком даже человеческое | 154 |
| Нацисты и прочие                      | 164 |
| Беженцы из Губена                     | 171 |
| «Не пропадай»                         | 182 |
| После                                 | 190 |



*Инга Дойчкрон*  
*Я носила*  
*желтую звезду*

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор Ю.И.Зварич

Д62 **Дойчкрон И.**  
Я носила желтую звезду: Воспоминания: Пер. с нем. — М.:  
Текст, 2001. — 207 с.  
ISBN 5-7516-0272-2

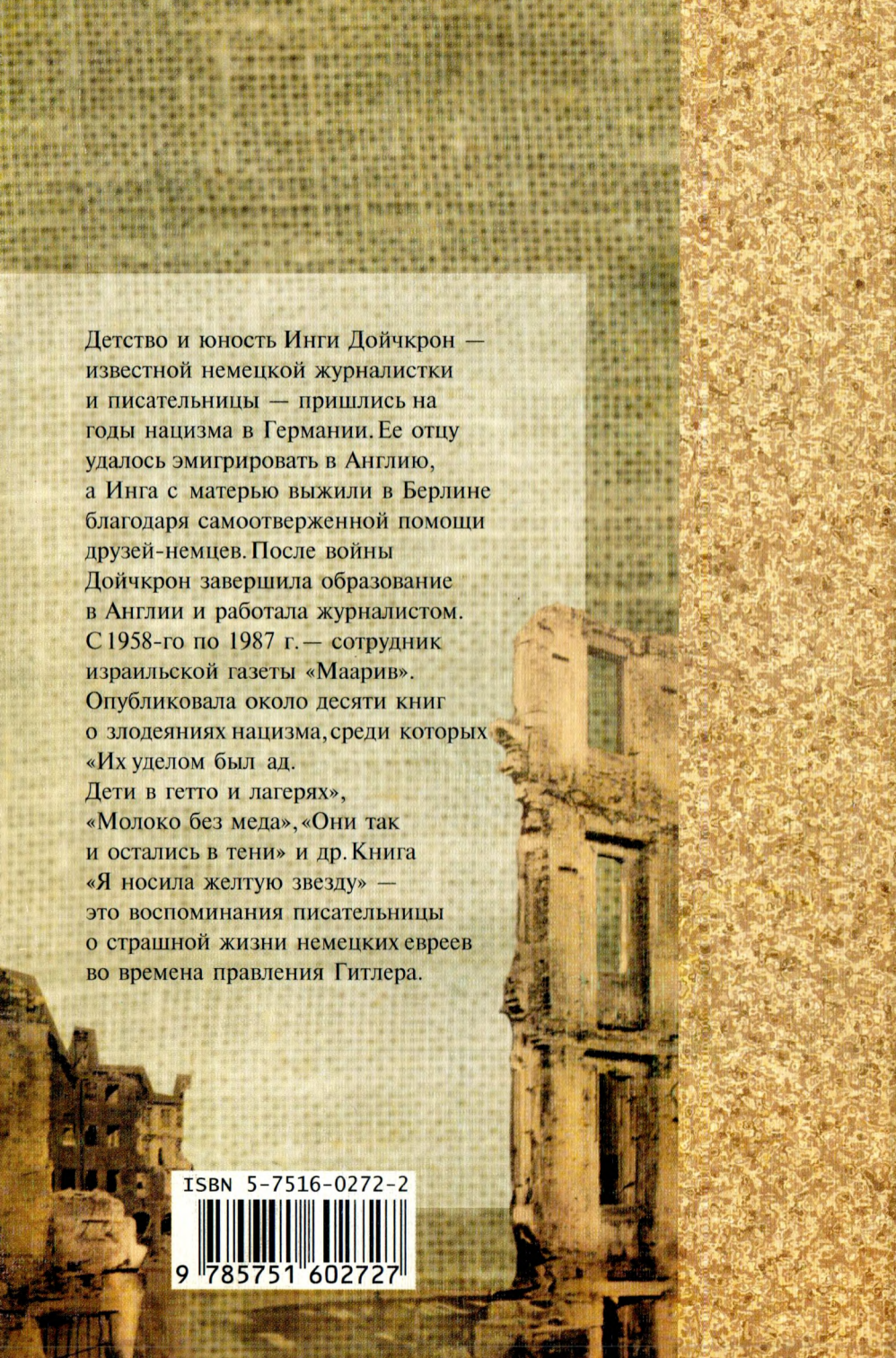
Инга Дойчкрон — известная немецкая журналистка и писательница. Книга «Я носила желтую звезду» — это воспоминания еврейской девушки, которая пряталась в Берлине от нацистов. Ее судьба схожа с судьбой Анны Франк — с той лишь разницей, что Инге Дойчкрон удалось выжить. Это рассказ о несправии и унижениях, о жизни под чужим именем, о депортации и постоянной угрозе смерти — но в то же время о человеческой солидарности и готовности прийти на помощь.

УДК 821.112.2  
ББК 84(4Гем)

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000  
Подписано в печать 28.08.2001. Формат 60 x 90/16.  
Усл.печ.л. 14. Уч.-изд.л. 14,28. Тираж 3500 экз. Изд. № 375.  
Заказ № 706

Издательство «Текст»  
125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1  
Тел./факс: (095) 150-04-82  
E-mail: textpubl@mtu-net.ru  
<http://www.mtu-net.ru/textpubl>  
Представитель в СПб. и «Книга — почтой»: (812) 311-96-31

Отпечатано в ООО типографии «ПОЛИМАГ»  
127247 Москва, Дмитровское шоссе, 107



Детство и юность Инги Дойчкрон — известной немецкой журналистки и писательницы — пришлось на годы нацизма в Германии. Ее отцу удалось эмигрировать в Англию, а Инга с матерью выжили в Берлине благодаря самоотверженной помощи друзей-немцев. После войны Дойчкрон завершила образование в Англии и работала журналистом. С 1958-го по 1987 г. — сотрудник израильской газеты «Маарив». Опубликовала около десяти книг о злодеяниях нацизма, среди которых «Их уделом был ад. Дети в гетто и лагерях», «Молоко без меда», «Они так и остались в тени» и др. Книга «Я носила желтую звезду» — это воспоминания писательницы о страшной жизни немецких евреев во времена правления Гитлера.

ISBN 5-7516-0272-2



9 785751 602727